

Виктор Тростников

РОССИЯ

земная и
небесная

самое
длинное
десятилетие



Г Р И Ф О Н

Виктор Николаевич Тростников

Россия земная и небесная.

Самое длинное десятилетие

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12055454

*Россия земная и небесная. Самое длинное десятилетие./ В.Н. Тростников – М.: Грифон, 2007. – 296 с.: Грифон; Москва; 2007
ISBN 5-98862-026-4*

Аннотация

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности. Это делает во многом пророческую книгу В.Н. Тростникова «Россия земная и небесная» бесценным даром для нескольких поколений относительно молодых людей, не обладающих личным опытом значительного прошлого – как в науке, так и в духовном прозрении, которое приходит к человеку, увы, не всегда в молодости, а с течением лет. Вопросы духовной, религиозной зрелости – тоже стали важным элементом книги.

Главный принцип, который постулирует автор: быть русским – значит глубоко чувствовать духовные ценности русской культуры, неразрывно связанные с Православием, а национальное происхождение, этническая принадлежность здесь ни при чем.

Книга «Россия земная и небесная», выходящая впервые, возможно, станет источником многих открытий для читателя.

Книга издается в авторской редакции.

Содержание

От издателя	4
Предисловие	6
Раздел первый	7
Его слабость заключается в его силе	7
А у нас был Высоцкий	13
Памяти Петра Капицы	24
Он один знал, куда ведет Россию	31
Кто нашей стране нужней – губернаторы или сатирики?	34
За всех за нас вы думали в Кремле	37
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Виктор Николаевич Тростников

Россия земная и небесная.

Самое длинное десятилетие

От издателя

Это не совсем обычная книга, составленная из трудов разных лет знаменитого отечественного ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова, и она вовсе не нуждалась бы в отдельном представлении, если бы не одна особенность: автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах бытовой жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности. Поэтому пусть читатель не удивляется необычному сопоставлению сталинских времен с брежневскими, «перестройки» с «новым капитализмом», законов физики и социальных реалий. Мир предстает перед нами необычайно разноликим – и в то же время крайне увлекательным. Это делает во многом профетическую книгу Тростникова бесценным даром для нескольких поколений относительно молодых людей, не обладающих личным опытом значительного прошлого – как в науке, так и в духовном прозрении, которое приходит к человеку, увы, не всегда в молодости, а с течением лет.

Вопросы духовной, религиозной зрелости тоже стали важным элементом книги, это видно в особенности в третьей части, где рассматривается внутренняя интеллектуальная мощь Православия в сочетании с личным познанием.

Важно, что автор, не навязывая своих оценок, твердо стоит на позициях глубинной русской мыслительной традиции, которая не связана собственно с этническими особенностями личности, а целиком относится именно к области чистого Духа. Физику-теоретику по образованию такие формулировки, конечно, позволительны, тем более что они отвечают на самые болезненные вопросы современного российского бытия. Вспоминается в связи с этим знаменитая формула философа Н. Бердяева о необходимости различения «России небесной и России земной», ведь именно «небесную», идеальную в своем представлении Россию мы и можем любить, чтобы вывести на путь приближения к ней далеко не всегда приглядную «Россию земную», с которой приходится сталкиваться в бытовой жизни.

Важным представляется принцип, который исподволь, а иногда и открыто постулирует автор: быть русским – значит глубоко чувствовать духовные ценности русской культуры, неразрывно связанные с Православием, а национальные корни, этническая принадлежность здесь ни при чем. Это напрямую отсылает нас к тезису, изложенному еще апостолом Павлом, где для Христа-Спасителя «нет ни эллина, ни иудея», а важна лишь убежденность человека в Истинной Вере.

А начинается-то все с «развлекательной» жизненной прозы – множество интересных зарисовок и тонких наблюдений о жизни, о людях, окружавших автора, и о стране, которая эволюционировала параллельно с ним. Гениальные ученые, безвременно ушедшие поэты, мудрые священники, проникательные женщины... И только к середине книги начинаешь чувствовать громадность замысла, разносторонний и беспощадно откровенный анализ русской жизни, на который не всякий отважится.

Итак, перед вами, читатель, непростая литературная вещь, однако она пробуждает глубокое и сладостное стремление изучить и возлюбить духовную культуру России еще вдумчивее, с учетом многоликости вещного и интеллектуального мира.

Р. Огинский

Предисловие

До революции самым дорогим архитектором в России был Иван Владиславович Жолтовский. В начале двадцатого века он строил красивые особняки тогдашним «новым русским», и тем они очень нравились, так как Жолтовский лучше всех в мире знал секреты ампира – всякие там архитравы, антаблементы, триглифы, метопы и прочие пилястры. Но вот грянул Октябрь, пролетариату понадобился конструктивизм, и классическая пластика была выброшена на помойку, как и все буржуазное. Но в отличие от своих коллег – Щусева, Весниных, Лодовского и Мельникова – Жолтовский не стал менять свои убеждения и оказался безработным. Более десяти лет он жил продажей накопленного имущества и совсем обнищал. Но вот Сталин стал строить империю и, разумеется, тут же начался спрос на ампир. И тогда вспомнили о Жолтовском.

Рассказывали: к окошку кассы Моспроекта подходит старичок в галошах на босу ногу, подвязанных веревочкой. Кассирша, по внешнему виду решив, что это сторож, ищет фамилию в соответствующей ведомости и не находит. – Да как же это, – бормочет старичок, – мне звонили, чтобы я получил деньги.

Кассирша берет ведомость сантехников, но там его тоже нет. – Так кто же вы? – теряет она терпение. – Я главный консультант проекта. – Кассирша находит его в отдельном наряде и говорит: – А вы взяли с собой чемодан? Тут вам целый миллион выписан...

Пересидел-таки, дождался.

Я тоже вроде бы пересидел угар демократии. При Ельцине мои патриотические писания никто и близко не подпускал к печати. Одна дама, издававшая журнал средней толщины, даже сказала: «Тростников будет напечатан у нас только через мой труп». Сегодня звонят, просят рукопись. Конечно, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но, похоже, я правильно сделал, что не менял убеждений.

Читая статьи, отобранные для этой книжной публикации, я испытал сложные чувства. Иногда удивлялся: неужели я когда-то был такой умный? Иногда восклицал: ну, брат, здесь ты впал в крайности и заврался! И во втором случае рука тянулась к исправлениям, хоть баритональный редакторский голос мягко, но жестко отговаривал меня от правок. Подумав как следует, я решил, что не имею права ничего менять. Ведь большинство статей я писал не один, а с соавтором, и без его согласия не могу этого делать, а его уже нет. Этот соавтор – то самое пресловутое «ельцинское десятилетие», которое действительно было для нас самым длинным. Поэтому оставляю все как есть: пусть этот сборник, помимо всего прочего, будет и документом эпохи.

Тем, что сборник вышел в свет, я обязан многим людям. Особенно хочу поблагодарить Галину Ивановну Поморцеву, оказавшую неоценимую помощь в предварительном редактировании текстов.

Раздел первый Люди

Его слабость заключается в его силе

Когда мне позвонили из Ясной Поляны и предложили написать что-нибудь о Толстом для готовящегося журнала, это было для меня нечаянной радостью. Вряд ли даже звонок из Кремля стал бы для меня более приятным сюрпризом. К тому же выполнение этого заказа показалось мне в первый момент очень легким: ведь на протяжении почти всей моей жизни Лев Толстой был для меня главным писателем и лишь сравнительно недавно уступил эту роль другому автору. Но когда дошло до дела, я понял, что писать о нем мне очень трудно, и именно по той причине, что я переплелся со всем, в нем содержащимся, и теперь говорить о нем – значит говорить о себе, а это, помимо того что нескромно, малоинтересно для других.

Все-таки добавлю два слова о переплетении. Одно время я чувствовал Толстого своим «альтер эго» – я родился в том же году, только век спустя, и мой день рождения всего на пять дней позже; у меня то же отчество и фамилия начинается на ту же букву. И с самого детства я с ним: «Охота пуще неволи», «Мильтон и Булька», «Лев и собачка» – вот что формировало мои представления о добре и зле в большей мере, чем остальные произведения, больше, чем даже звучный и легко запоминающийся «Мистер Твистер» или веющий потусторонним духом «Бежин луг». В первом – противопоставление плохого богача и хорошего «цветного народа» было слишком прямолинейным, а во втором удручали длиннейшие, слишком цветистые и совершенно ненужные для основного сюжета описания природы, которые приходилось просто пропускать. А главное – и там и там было ясно, что это сочинительство, пусть очень умелое, на котором можно учиться излагать свои мысли на бумаге, но именно *сочинительство*, а в «Мильтоне и Булке» было нечто другое – что именно, я тогда не понимал, но чувствовал какой-то особенный уровень повествования, много более высокий. Толстой воспринимался мною тогда как волшебник, складывающий слова так, как не может сложить их никто другой: будто они сами собой складываются, без участия сочинителя.

Это волшебство особенно сильно поразило меня в возрасте четырнадцати лет. Мы с мамой были эвакуированы в Среднюю Азию и жили в комнате общежития. Я переболел малярией и, не имея еще сил встать с постели, томился скукой. Внезапно я увидел на соседней койке книжицу: это был томик из «Войны и мира» издания Маркса, тот, где Андрей Болконский умирает в Мытищах. Я начал его читать, и со мной стало происходить нечто до тех пор не случавшееся. До этого мне пришлось прочесть много интересных книжек, например, «Таинственный остров», сюжетом которого я долго был взволнован, но я вообразить не мог, что существует *такая* литература. Какая же? Такая, что, начиная ее читать, ты целиком погружаешься в некую родную и близкую тебе жизнь, гораздо более реальную, чем та, которая вершится вокруг тебя, и пока ты не закроешь последнюю страницу, тебе не надо ни есть, ни пить, ни спать, а только жить этой *настоящей* жизнью, спрессованной каким-то чудом в нескольких сотнях бумажных страниц, а когда закрываешь ее, тебя охватывает грусть, что надо возвращаться в действительность, которая по сравнению с тем, где ты сейчас побывал, есть не действительность, а плохая выдумка.

Это был важный этап моего срастания с Толстым, которое продолжилось и дальше. «Войну и мир» я прочитал к настоящему моменту восемь раз, «Анну Каренину» – двенадцать, и я не уверен, что на этом счет закончится. А вот «Воскресение» осилил только раз и никогда не имел потребности к нему вернуться – оттолкнула явная тенденциозность

этого романа. Зато многие рассказы и повести – «Два гусара», «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича» и мировой шедевр «Хозяин и работник» – перечитывал постоянно. Так что трудно сейчас понять, что во мне от меня самого, а что от Толстого, который не во мне, а вне меня. А писать-то надо о нем, объективном. Что ж, придется сделать усилие и подавить в себе все субъективное, ведя разговор о всем доступном явлении мировой культуры, которое называли «величайшим писателем земли Русской». Конечно же меня хватит лишь на то, чтобы затронуть два или три аспекта этого явления.

Начнем с попытки разгадать секрет этого волшебства, о котором сейчас было сказано, то есть понять суть художественного метода Толстого.

Думается, он был основоположником нового для того времени типа литературы, перехода ее на третью стадию развития. На первой стадии она занималась описанием событий, происходящих с персонажами и вокруг них. Этим литература занималась, начиная с Античности вплоть до конца Средневековья. Описывали события эпосы, саги, руны, сказания, былины и так далее. Святогор едет по дороге и видит суму переметную; Илья Муромец направляется в Киев через Чернигов и встречается с Соловьем-разбойником. Сказитель ничего не сообщает нам о переживаниях Святогора, не сумевшего поднять суму, и Ильи, сумевшего приторочить разбойника к седлу и доставить его князю, да его и самого это не интересует. Переживать предоставляется слушателям былины, которые ставят себя на место ее героев. Но около XVIII века европейская литература начала входить во вторую стадию – проявлять повышенный интерес к внутреннему миру своих персонажей, к тому, какие эмоции они испытывают в тех или иных обстоятельствах. Пример – «Страдания молодого Вертера» Гете, причем пример, ставший весьма заразительным. Здесь автора волнует не столько то, что делается вне Вертера, сколько происходящее в нем самом, ибо это помогает понять особенности его души. Это же занимает и Пушкина: он не описывает конкретные любовные похождения Онегина, как это сделал бы средневековый писатель, а знакомит нас с психологией этих походов («Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать...») и тому подобное). Достоевский в «Бедных людях», вызвавших бурный восторг Белинского, прямо предоставляет Макару Девушкину изливать свои переживания в письмах, которые и становятся тут главным предметом повествования. Психологическая литература не упразднила событийную, а сосуществовала с нею, однако претендовала на более высокий ранг, считая себя «передовой».

И вот появился граф Толстой, «прогремевший, как гром среди ясного неба, своими «Севастопольскими рассказами»». Это было уже нечто совершенно новое – литература вошла в третью стадию своей исторической эволюции.

Метод, к которому прибегнул Толстой с самых первых своих произведений, основан на тонком различении двух вещей: чувств (не важно, индивидуальных или коллективных), определяющих восприятие окружающего, а значит, и поведение, и *мотивации* этого восприятия и этого поведения. До Толстого писатели считали, будто чувства и есть мотивация, а он впервые догадался, что эта подлинная мотивация лежит на более глубоком, подсознательном уровне личности или социума и порождает нужные ей чувства, которые мы принимаем за первопричину наших поступков. В чем причина такой маскировки? Толстой понял и это. Дело в том, что подлинная мотивация всегда является более низменной, приземленной, грубой, чем те чувства, в которые она себя облекает и которыми мы объясняем и оправдываем свои действия. Слово «всегда» здесь существенно: оно выражает закон, относящийся к природе человека. Его можно назвать *законом облагораживания мотивации*. Открыв этот закон, Толстой, в сущности, создал новую антропологию, правильность которой постоянно подтверждал своими произведениями, помещая изображаемых в них лиц под увеличительное стекло и обнаруживая в них то, о чем не знают они сами.

Толстому не приходило в голову заявить о своем открытии как о научном результате: академическая сфера была для него предметом больше насмешек, чем уважения («Противнее всех самоуверен немец: он верит в науку, которую сам выдумал»). Но иносказательную формулировку закона облагораживания мотивации он все-таки дал в своем знаменитом, много раз повторенном тезисе: «Мы любим людей, которым сделали добро, и не любим людей, которым сделали зло». Тут в принципе этот закон содержится. Действительно, почему у нас возникает любовь к человеку, которого мы чем-то одарили, пусть даже ненамеренно? По той причине, что акт его облагодетельствования дает нам повод считать себя более добрыми, чем мы есть на самом деле, то есть облагораживает нас в собственных глазах, и за это мы чувствуем к нему благодарность. А не любим человека, которому чем-то навредили, хотя бы случайно, из-за того, что, посчитав его плохим, мы смягчаем неблагородство своего поступка: с плохими и надо так поступать, чего с ними церемониться.

Открытие, касающееся самых глубин людской натуры, сделано Толстым методом художественного проникновения в действительность, которое в познавательном смысле может быть не менее эффективным, чем научное исследование. Но академические круги весьма консервативны, и тех, кто не придерживается их цеховых правил публикации результатов, в свою компанию не принимают. Ни один дипломированный психолог не обратил внимания на подсказки великого писателя, которые при должном наукообразном оформлении могли бы произвести переворот в теории. Лишь через пятьдесят лет после опубликования «Севастопольских рассказов» Зигмунд Фрейд ввел в науку примерно то представление о человеке, на котором построено произведение. Но идея Фрейда похожа на идею Толстого, как котенок на льва: она у него редуцирована, опошлена и дополнена ложью. Бессознательное самооблагораживание простирается у Фрейда лишь на одну-единственную сферу – на половое влечение, а сам предмет облагораживания – якобы заложенный в каждом человеке «эдипов комплекс» – попросту выдуман. Открытие же Толстого имеет универсальный характер и замечательно согласуется с антропологией другого русского гения, Владимира Соловьева, считавшего одним из фундаментальных элементов внутреннего человека чувство стыда по отношению к низшему в себе. Понятно, что в рамках этой антропологии самооблагораживание выступает средством избавления от этого стыда, позволяющим человеку чувствовать себя человеком, а не животным.

Метод художественного познания человеческой души Толстой применяет в первом крупном своем произведении так подчеркнуто, как впоследствии этого уже не делал, – видно, очень хотелось поделиться с читателем радостью открытия. Описывая экстремальную ситуацию Крымской войны, он обнаруживает закон облагораживания также в его экстремальном выражении – в *героизации*. Истинная мотивация поведения людей вовсе не их геройство – это основная мысль повествования. «Да! Вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следы суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам».

Или вот место, с полной беспощадностью показывающее подлинную мотивацию одного из «героев Севастополя», штабс-капитана Михайлова. «Каково будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая в своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, – когда она вдруг прочтет в “Инвалиде” описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да еще, верно, много перебыют нашего брата в эту кампанию». Как мы видим, Михайловым движет одно често-

любие, доводящее его до того, что он чуть ли не радуется нашим потерям, расчищающим ему путь к званиям. Где же здесь патриотизм, где мысль о России, о вере православной, где клятва «уж постоим мы головою за Родину свою!»?

Выявление истинной, а не облагороженной мотивации продолжается у Толстого и в следующих произведениях, хотя не столь резкое. Князь Василий презирует подхалимов, но ему почему-то всегда симпатичны влиятельные люди, и он *бескорыстно* заводит с ними дружбу. Романтизм Наташи Ростовской и ее очаровательная непредсказуемость оказываются лишь преломлением ее истинного стремления иметь мужа и детей, и когда эта изначальная потребность удовлетворяется, она становится серой и скучной. Каренин отказывает Анне в разводе, чтобы отомстить ей за измену, но для себя объясняет отказ не этим недостойным порядочного человека чувством, а тем, что так велел ему сделать прозорливец...

Казалось бы, такого рода литература, показывающая, что наша жизнь управляется более примитивными началами, чем нам хотелось бы думать, не должна была понравиться публике – кому охота докапываться до навоза, на котором растут ласкающие наш взор цветы. Но Толстой не только понравился, а буквально завладел умами и сердцами миллионов. А в конце XIX века во Франции появился писатель если не такого же масштаба, то такого же направления, еще один представитель третьей стадии развития словесности – Мопассан. Начиная с первой своей вещи – «Пышка», он в большинстве своих рассказов разоблачает низменную мотивацию поступков, маскируемую добрыми побуждениями. Мопассан в своем разоблачении еще более жесток, чем Толстой, но, несмотря на это, он тоже имел колоссальный успех. Кстати, Толстой высоко ценил Мопассана и написал о нем отдельно статью. В чем же причина этого успеха?

Отчасти она объясняется тем, что каждый читатель относит критику людской природы не к себе, а к окружающим, а убеждать себя в том, что окружающие плохие, приятно, так как ты сам по контрасту оказываешься хорошим. Но есть и более серьезная причина. Литература этого типа вызывает в нашей душе уникальное чувство прикосновения к неприукрашенной, обнаженной правде жизни, правде до конца, к онтологической основе нашего бытия, а это дороже всякой эстетики. Такая литература представляет человека не ангелом и не демоном, а таким, *какой он есть*, и читатель поневоле соглашается с автором (да, человек таков), и в акте согласия происходит его приобщение к космическому миропорядку, настолько иногда осязаемое, что он останавливает чтение и несколько секунд сидит в состоянии какого-то странного волнения. И чаще всех и вернее всех писателей доставляет нам это волнение Лев Толстой.

Но вот незадача: помимо приобщения к правде жизни, Толстой иногда вводит нас в область довольно нудных рассуждений, не только не покоряющих своей правдивостью, но и просто неубедительных. Это происходит в тех случаях, когда он от описания гениально чувствуемого им *хода жизни* переходит к попыткам объяснить нам *смысл жизни*. И тут он неизменно терпит провал. А потребность понять смысл человеческого существования была у Толстого так велика, что свои неубедительные раздумья на эту тему он вставлял даже в наиболее совершенные художественные произведения. В «Войне и мире» это «Эпилог», в «Анне Карениной» – философские размышления Левина, в «Крейцеровой сонате» – послесловие. Что же касается «Воскресения», то там этих раздумий так много, что весь роман в целом нельзя назвать совершенным, хотя поразительные по художественной силе места имеются и в нем (например, описание чувств молодого Нехлюдова во время ледохода).

Эта ложка дегтя в бочке меда, каковой является для нас творчество Толстого, – не вина его, а беда. Чтобы простить человека, надо его понять, а чтобы его понять, надо его любить. Кто любит Толстого, для того его дилетантское учительство есть трагедия великой личности – трагедия мучительная, но оказавшаяся для него совершенно неизбежной. Она явилась закономерным результатом трех особенностей душевного устройства Толстого: повышенной

чувствительности к мысли о неотвратимой смерти, доходящей до приступов страха («Арзамасская тоска»); наследственной гордыни аристократа, подхлестнутой всемирной славой, и, как ни странно, гениально верным пониманием эмпирической жизни – достоинством, которое вне сферы своего применения обратилось в недостаток.

Тема смерти у Толстого проходит сквозной нитью через все его творчество. Ей специально посвящены рассказы «Три смерти», «Люцерн» и «Смерть Ивана Ильича». Описание смерти занимает центральное место в «Севастопольских рассказах». В «Войне и мире» князь Андрей умирает дважды, в «Анне Карениной» долго умирает Николай Левин, и это едва ли не лучшие страницы великих романов. И такой гипертрофированный интерес к смерти вызван у Толстого не только его врожденным страхом перед нею, но и переполнявшей его влюбленностью в жизнь, которую он чувствовал всеми изгибами своего «я» и понимал, как никто другой. Он ценил свое понимание жизни, считал, что здесь он первый в мире, и это служило для него основой самоутверждения, в котором он, как гордый человек, очень нуждался. Но ему было ясно, что понять жизнь до конца может только тот, кто разгадает ее тайну – то, что она всегда кончается, то есть поймет смерть. Вот он и напрягался все время, чтобы ее понять, измучил и себя и своих читателей этим напряжением, но так и не понял. Иначе не могло и быть. Толстой не был способен понять смерть потому, что был очень уж способен понимать жизнь. Весь его познавательный аппарат был идеально настроен на то, что происходит до смерти, потому что для предвидения того, что начинается *после* нее, он оказался совершенно непригодным. Ведь там все устроено по-иному.

«Царство мое не от мира сего», – сказал Бог-Сын, а Толстой всеми фибрами своего сознания принадлежал сему миру, потому гениально его и изображал.

У апостола Павла есть слова, будто специально обращенные к Толстому: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). А Толстой судил обо всем душевно, потому что почитал безумием даже тезис о триединстве Бога, служащий не только краеугольным камнем духовной жизни христиан, но и исходным началом всякой верной философии, как отмечал Иван Киреевский. Вдуматься же в слова апостола ему не позволяла все та же гордыня. Он хотел докопаться до тайны смерти сам, пренебрегая мудростью богодухновенных святых отцов, а такая самодеятельность в этой области ничего дать не может.

Но тем, кто упрекнет Толстого в мистической и метафизической безграмотности, я скажу: «Стоп! Заградите ваши уста, столь быстрые на суждение. Не все с этим писателем так просто. Прочитайте «Хозяин и работник».

По критерию художественности, отнесенному к текстам такого объема, эта вещь является непревзойденной во всей мировой литературе, и с ней можно сравнить лишь те три десятка страниц эпопеи Марселя Пруста, где он описывает смерть своей бабушки. Но сейчас о другом. Этот рассказ – не просто литературное совершенство, но прорыв Льва Толстого в ту область, где многие религиозные люди считают его бездарным. Прорыв, да еще какой!

Вдумываясь в специфику Толстого как писателя, мы согласились, что он открыл в своей литературе «закон облагораживания мотивации». И вот эта стройная искусствоведческая концепция разбивается о рассказ «Хозяин и работник». В нем Хозяин не облагораживает себя, а принижает. Он постоянно думает о деньгах и сознательно делает своей жизненной мотивацией корысть. Но в последний день своей земной жизни он обнаруживает в себе еще более сильную глубинную мотивацию, заставившую его совершить бескорыстное самопожертвование, отогревая Работника ценой собственного замерзания. Кем же он был на самом деле – стяжателем или добрым самарянином? Толстой не дает ответа на этот вопрос. Сказать вам почему? По той причине, что сам его не знает. А ведь вроде он знал о жизни

все. Значит, все-таки не все. И не зная ничего о том, куда мы уходим из жизни, все-таки кое-что об этом знал.

Хотелось бы многое еще сказать о Толстом, однако если касаться всего, чем он волнует ум и сердце, конца разговору не будет. Но проститься с ним хочется с улыбкой. Давайте же напоследок улыбнемся.

Лев Толстой в Поляне Ясной
Босиком ходил обычно.
Это было и опасно,
И, конечно, неприлично.
Но, напарывая ногу
То на то, а то на это,
Он умел найти дорогу
В поле в середине лета.
Не прося себе побряжки,
Этот человек великий
Описал нам запах кашки
И цветенье повилики.
Скажет, если кто не знает:
Вот так глупость, вот мура-то!
Но ведь это открывает
Повесть про Хаджи-Мурата.
Почитай-ка эту повесть,
И узнаешь до конца ты,
Что мучительная совесть
Открывала
век
двадцатый.

А у нас был Высоцкий

Известно, что глубинный смысл всякого явления становится понятным лишь тогда, когда оно отойдет достаточно далеко в прошлое.

Оценка по свежим следам всегда искажена еще неостывшими эмоциями. По отношению к такому явлению, как Владимир Высоцкий, это особенно верно. Вспоминаешь, что совсем недавно он был молод и полон замыслов, а теперь лежит на Ваганьковском кладбище – и сердце пронзает жалость, и как-то не можешь до конца поверить в случившееся. Эти чувства так сильны, что, думая о Высоцком, в первую очередь думаешь о потере.

И все же пришло время начать осмысливать его как приобретение. Его творчество уже закончено, к нему ничего больше не прибавится. Оно стало историческим фактом, а такие факты интересны главным образом с точки зрения их исторической ценности. Поскольку Высоцкий – поэт, то по традиции следовало бы начать с анализа особенностей его поэтического дара. Эта традиция очень прочна, и сложилась она в рамках представления, будто характер и значение творческого наследия всякого художника зависят от специфики его одаренности. Но я думаю, что для художника такого масштаба, как Высоцкий, не талант определяет миссию, а наоборот, миссия определяет особенности таланта. Я не могу поверить, что Высоцкий появился случайно, в силу каких-то генетических мутаций. Он, несомненно, выполнял нечто провиденциальное. У него, как и у других поэтов такого уровня, историческое предопределение было первичным, а одаренность производной: она далась ему в той мере и в таком качестве, которые соответствовали предопределению и позволили выполнить его наилучшим образом. В ответ на возможные упреки в «ненаучности» такого взгляда на историю культуры я мог бы привести в его защиту ряд подробно изложенных аргументов, но считаю это излишним. Поэтому я предлагаю читателю принять мою точку зрения хотя бы временно и убедиться, что она многое делает понятным.

Итак, мы будем исходить из того, что Высоцкий был нужен нашему народу, что он выполнял нечто для него важное и актуальное.

Что же это было? Высоцкий был и певцом и актером, но главное его наследие относится к области словесности. Конечно, тексты его песен трудно отделить от мелодии и исполнения, но все-таки для слушателей важнее всего именно его слово, а не музыка, как скажем, у Луи Армстронга. А слово лишь тогда может иметь мессианское значение, когда оно в какой-то степени есть Богосозидающее слово.

Слово Высоцкого обрело всенародное значение как раз потому, что оно было созидющим. Что же созидает Слово? В самой краткой форме на этот вопрос можно ответить так: оно создает вещи. Из «Калевалы» мы знаем, что поэт Вяйнямейнен мог «напеть» елку или какой-то другой предмет. Убеждение, что слово обладает творческой силой, пронизывает мифологию не только финского, но и всех других народов. В христианской философии мировым созидющим началом также выступает Слово. Христос, создавший новозаветную реальность, согласно Евангелию, есть Слово.

Не следует думать, будто слово могло создать вещественную реальность лишь в каком-то мифологическое время, а сейчас эту способность потеряло. Оно до сих пор обладает ею. Когда вы ходите по лесу со знающим человеком и он произносит названия трав, эти травы благодаря звучанию слова возникают для вас из небытия. Ни таволга, ни донник как бы не существуют, пока вы не узнали их имена. Конечно, в физическом смысле они существовали давно – с того момента, когда их «назвал» Творец, – но в вашей вселенной они получили место только вместе со словами «таволга» и «донник». Аналогичным образом растение или животное не является реальностью в научном смысле, пока специалист не присвоит двойное латинское название, обозначив какими-то словами вид и семейство. До этого его как

бы нет. В общем, «существование» – понятие весьма нетривиальное. Только примитивное материалистическое мировоззрение абсолютизирует предикат «существует», полагая, будто по отношению к любому объекту он либо верен, либо нет.

«Кентавр не существует, – говорит материалист, – а лошадь существует». И во всех других случаях мы тоже можем утверждать либо то, либо это.

На самом же деле в том примере, который он приводит в качестве классического, никакой ясности нет. Ведь когда говорят: «лошадь существует», имеют в виду не данную конкретную лошадь, а лошадь вид – лошадь вообще. Но что означает утверждение «лошадь вообще» существует? Пытаясь понять это, мы сразу же приходим к знаменитой проблеме существования универсалий, которая обсуждалась европейскими учеными нескольких столетий, пока грубый прагматический дух нарождающегося естествознания не подорвал интерес к таким тонким исследованиям. Однако в наши дни огромная сложность понятия «существует» вновь заявила о себе, причем как раз в той области, где все казалось в этом отношении ясным – в физике.

Сейчас у ученых нет единого мнения по поводу того, в каком смысле существует волновая функция атомного объекта, существуют ли виртуальные, т. е. принципиально ненаблюдаемые частицы, существуют ли кварки, составляющие фундаментальную основу всего вещества, и т. д.

Можно было бы подробнее изложить драматическую историю перемены отношения нашей науки к понятию, всегда казавшемуся ей элементарным, но мы-то ведем речь не об этом – о Высоцком. И нам достаточно лишь обратить внимание на то, что «существование» имеет много различных уровней и что объект не просто существует или не существует, а может существовать в меньшей степени или в большей, в том или ином качестве.

Само по себе физическое существование является еще довольно низкой формой бытия. Это такое бытие, в котором объект подвержен лишь воздействию стихийных сил законов природы. Но если люди дают ему наименование, он поднимается на более высокий экзистенциальный уровень, так как вовлекается в орбиту сознательной деятельности человека и начинает испытывать на себе влияние его хозяйственных или научных устремлений, подчиненных более сложным законам, чем природные. А высший ранг существования достигается всякой данностью лишь тогда, когда она получает статус реальности в мистическом соборном сознании народа. При этом она сама становится мистическим объектом и тем самым вступает в круговорот наиболее важных и таинственных мировых процессов. Для этого она должна не просто получить название, но и быть зафиксированной в доступном народу поэтическом образе.

Бородинская битва реальнее любого другого российского сражения не потому, что она имела наибольшее военное значение, а потому, что получила художественное воплощение в «Войне и мире». Высший ранг существования ей придал не Кутузов, а Лев Толстой.

Сущность феномена Высоцкого можно осознать в историческом контексте и только с учетом того, что сейчас было сказано.

К началу 1960-х годов наше общественное сознание было до предела обеднено. Та его часть, которую можно назвать коллективным мироощущением, стала поистине нищей. Наш мудрый вождь товарищ Сталин предписал народу, за плечами которого было целое тысячелетие напряженного духовного развития, воспринимать все окружающее в свете 5-й главы «Краткого курса истории партии».

Конечно, свести национальное российское осознание к этой примитивной схеме было нелегко, но физическое уничтожение лучших представителей народа и систематическое запугивание остальных в течение многих лет помогли осуществить такую редукцию. И вот на нас опустилась мгла коллективного одичания, которое таило в себе громадную опасность как для каждого из нас, так и для внешних народов. Нормальное положение состоит в том,

чтобы общество было умнее самого умного индивидуума – в этом случае оно совершенствует каждого человека, тянет его вверх. У нас же оно стало глупее самого глупого индивидуума, что создало угрозу деградации личностей. Угроза же внешнему миру заключалась в потере нашим обществом всякого ощущения реальности и даже простого инстинкта самосохранения. Его поведение стало безумным, оно бросалось от одного нелепого лозунга к другому, ничего не запоминая и ни из чего не делая выводов. В его убогом сознании не умещалось уже ни прошлое, ни будущее, оно забыло собственную историю и не было способно заглянуть в завтрашний день. Если бы оно не выздоровело, это привело бы к какому-то страшному коллапсу и, может быть, к остановке всей мировой истории. Но такой исход пока, видимо, Провидением не предусмотрен – или отложен. И все-таки похоже, что России был уготован путь исцеления.

Первым признаком того, что критический момент уже позади и дело повернуло к улучшению, было развенчание Хрущевым умершего Сталина. Материалистически мыслящие современные историки пытаются дать этому странному поступку главы государства рациональное объяснение – например, усмотреть тут какие-то личные выгоды. Но где уж говорить о выгодах, когда разоблачение культа с самого начала вызвало глубокое недовольство сильных партийных кругов и в конечном счете привело Хрущева к падению. Не проще ли предположить, что Никита Сергеевич всего лишь выполнял не осознанную им самим историческую миссию? Выполнил, а потом стал не нужен и был отодвинут историей в тень. Но как бы там ни было, устроенная им «оттепель» дала возможность народу немного прийти в себя. Замороженные до этого лютой сталинской идеологией, соки нашего национального организма начали оттаивать и двигаться. И в этот момент вспыхнули пресловутые «хрущевские надежды», которые опьяняли нас радостью. На миг нам показалось: все, выздоровели! Многие до сих пор гадают, почему тогдашние упования не сбылись. Одни говорят, что Хрущев был половинчатым политиком и не довел дело десталинизации до конца. Другие сваливают все на поднявшую голову «реакцию». Но истина – ни в том, ни в другом. Просто само наше общество не было готово к переходу в новое состояние. У него не хватило бы внутренних сил, чтобы сразу начать ту жизнь, которую ведет здоровое общество. После затяжного недуга нельзя тут же выбегать на свежий воздух и позволять себе обычную норму движений: от этого закружится голова и станет еще хуже, чем прежде.

Сейчас мало кто понимает эту в общем-то весьма простую вещь, и в этом виноват все тот же материализм, который проникает в души даже тех, кто его ругает. Хотя мы стали чаще говорить о Боге и цитировать Священное Писание, на государство мы по-прежнему смотрим как на «общественный договор», апеллируя к старику Руссо. Отсюда идут наши преувеличенные представления о роли правительства. Раз общество зиждется на «сетке отношений», рассуждаем мы, значит, разумное изменение этой сетки может сделать и всю нашу жизнь разумной, а такое изменение – в руках властей.

И нам невдомек, что не только структура законодательства, но и сама трактовка понятия «Законность» зависит от того незримого фактора, который можно назвать состоянием народного духа. Государство – отнюдь не есть договор между преследующими свои личные выгоды индивидуумами – оно есть целостная данность, обладающая собственным неделимым «сверхсознанием», развитие которого и определяет историческую судьбу государства. А развивается это сверхсознание не по рецептам политиков. Наоборот, чуткий политик сам всегда подлаживается к его спонтанной эволюции. Скажем, прежде чем власти начнут разрабатывать закон об охране окружающей природы, нужно, чтобы в широких народных массах таинственным образом изменилось отношение к деревьям, птицам и зверью, чтобы рука заядлого охотника неизвестно почему перестала подниматься на дичь.

Одной из главных характеристик мистического национального сознания является широта его мироощущения. К моменту хрущевской десталинизации оно было у нас очень

узким, поэтому никаких реальных шансов на осуществление вспыхнувших надежд в то время, увы, не было. Той богатой и разнообразной сетке общественных связей, о которой многие тогда возмечтали, неоткуда было взяться, так как она всегда возникает как результат материализации богатства и разнообразия народного духа, а дух наш пребывал тогда еще в страшном убожестве. Мы недооценивали серьезности болезни и легкомысленно считали, что из нее можно выскочить одним махом с помощью административных мер и реформ. Позволяя в течение десятилетий разрушать религию и выработанные веками тончайшие регулировочные механизмы многослойного русского общества, мы решили, что все это нам мгновенно простится и как странный сон уйдет в прошлое, если мы только доведем до конца разгром сталинистов. Мы не учли, что у нас за душой осталось не намного больше, чем у сталинистов, что мы отвыкли от реальных и значимых ценностей. Нет, нам предстоял долгий путь.

И прежде всего нашему народному сознанию необходимо было раздвинуть свои рамки до естественных пределов, ассимилировать массу теснящихся вокруг нас вещей и событий, поднять их до уровня высшей, мистической реальности. Для этого надо было опозитивировать их, ввести в рамки народного художественного восприятия. Именно в этом, а не в трескучих внешних преобразованиях должен был состоять следующий после отмены культа Сталина этап нашего национального исцеления. Для этого этапа требовался народный поэт совершенно особого типа. Им стал Владимир Высоцкий.

Он явился не на голом месте. В некотором смысле его предшественником был замечательный поэт Булат Окуджава. Одаренный тонкой музыкальностью и приятным голосом, он записывал на магнитную пленку песни собственного сочинения, и они расходились по всей стране, достигая самых дальних ее уголков. В это время и была отработана вся технология «магнитиздата», которая уже на новом уровне тиражности стала работать потом на Высоцкого. Но рассматривать Окуджаву как человека, который подготовил лишь технические условия для распространения песен Высоцкого, было бы несправедливо. Он был предтечей Высоцкого и в чисто творческом отношении. Именно он первым запел о простых вещах, силой своего искусства придавая им такую форму, которая позволила им войти в ткань социального бытия. Он делал это далеко не в том масштабе, как после него Высоцкий, — он как бы примерялся к этой деятельности. Наверное, трудно было сразу привыкнуть к мысли, что смелому пошлетсся удача. Ведь господствовало убеждение, что в песне поэтическим должен быть в первую очередь сюжет. И Окуджава большей частью старался петь о таких романтических вещах, как синий ночной троллейбус, таинственный воздушный шарик, загадочный «стол семи морей».

Но вот, как предвосхищение чего-то грядущего, звучит у него баллада о парнишке из простого московского двора — Ленке Королеве. И ее успех был не меньшим, а даже, наверное, большим, чем успех его «салонных» песен, развивавших традицию Вертинского. Я считаю, что несколькими лучшими своими песнями Окуджава открыл дорогу Высоцкому. Тем не менее Высоцкий пошел по ней не сразу. Соблазн сюжета был слишком велик и для него, и вначале он перед ним не устоял. Но при этом проявилось его неподражаемое умение достигать цели кратчайшим способом. Что может быть по сюжету сказочнее сказок? Ничего. Вот он и начал петь сказки. Это не был период творческой учебы, какой проходят почти все поэты. Высоцкий в этом отношении уникален. Первые его песни столь же совершенны, как и последние. «Сказки» были переходным мостиком не на пути к овладению мастерством, а на пути к выполнению миссии. В них Высоцкий выдержал свое первое испытание: сумел сделать потустороннюю реальность органической частью здешней реальности. Он с блеском совершил то, о чем мечтали еще энтузиасты времен «Осоавиахима»: сказку сделать былью. Начинающий маг продемонстрировал свою мистическую силу. Хотя писать о Высоцком вообще-то очень трудно — прежде всего из-за ответственности темы, — сейчас

перед нами возникает специфическая трудность: не завязнуть в разборе «сказок». Им вполне можно было бы посвятить весь остальной текст статьи. С другой стороны, и этого было бы мало – они достойны целой книги. Как-то я сказал Высоцкому: «На вас защитят когда-нибудь не одну диссертацию». Он засмеялся и, не то соглашаясь, не то переспрашивая, повторил: «Защитят когда-нибудь!» Какие уж тут вопросы – будут и диссертации и монографии.

И все же на сказках нам придется задержаться. Надо понять: с помощью каких средств Высоцкий сделал сказочных персонажей по повседневному реальными? Тут можно указать на два приема, к которым он обратился. Первый, более формальный, состоял в том, что он систематически перемешивал тамошнюю и здешнюю реальности, так что они как бы уравнивались, получали одинаковый статус. Примеров тому можно привести множество: «На горе стояло здание ужасное, издавлек напомилавшее ООН», «Чтобы творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом». (О Змее Горыныче и Соловье-разбойнике), «И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой». Второй прием не так бросается в глаза, но по существу он важнее, а главное – он был блестяще использован потом, уже в «серьезный» период творчества. Высоцкий погружает сказочный сюжет в характерную эмоциональную атмосферу нашего времени. Мифические герои не только совершают у него те же поступки и произносят те же фразы, как и наши живые современники (например, колдун кричит русалке: «Все пойму и с дитем тебя возьму!»), но он к ним по-современному и относится. Высоцкий выделяет в очень точном виде абстрактную структуру наших психологических реакций и в ее узловые точки помещает нечто выдуманное. В принципе такой ход мог бы привести к двум последствиям: либо выдуманность узлов разрушит правдоподобие эмоций, либо правдивость эмоционального фона оживит призраки. У Высоцкого получается второе. Скажем, «лесная голытьба» становится у него вполне естественной и органичной благодаря тому, что она «по-своему несчастная». В этих словах выражена очень типичная форма сегодняшнего восприятия, а потому и объект этого восприятия обретает подлинность. Долго ли, коротко ли тешился молодой бард волшебным даром, заново укореняя в народном сознании давно вырванную из него лесную нечисть, но только к нему однажды явилась его строгая муза и сказала: «Это еще не служба, а службишка, – служба же твоя впереди. Хватит попусту силу богатырскую растрчивать, соверши-ка ты настоящий подвиг!»

До сих пор он делал нереальное реальным. Теперь ему предстояло нечто похитрее: делать реальным то, что и так реально, переводить вещи и события из низшей формы существования в высшую. Это труднее, чем переводить их туда из небытия. Когда вещь хоть как-то существует – скажем, на уровне названия, – то в ней имеется некое устоявшееся «теплохладное» отношение, и сделать его более эмоциональным очень непросто. Ведь человек не понимает, что, хотя эта вещь есть, ее как бы и нету, поскольку ей отведено место лишь в нашей голове, но не в нашем сердце. Чтобы заинтриговать человека тем, что ему уже известно, надо сконструировать новую и весьма заразительную систему отношений. На «сказках» выяснилось, что Высоцкий очень умелый конструктор такого рода. Разумеется, нельзя думать, будто до какого-то момента он писал только сказки, а потом стал признавать только сюжеты из повседневной жизни. Одно не сразу у него ушло, другое не сразу к нему пришло. Новая установка вытеснила старую исподволь и постепенно. И естественно, что среди его песен должны были появиться «гибридные», представляющие собой связующие звенья между двумя разными формами творчества. Одной из самых замечательных переходных песен является песня о джинне, выпущенном из бутылки. В ней даны два параллельных плана – сказочный и бытовой. Махровый советский мещанин сталкивается с персонажем арабских сказок. Но герои не равновелики по своему значению в песне. Главной ее фигурой служит обыватель, филистер. Он изображен живо и объемно, в то время как его партнер весьма схематичен. Высоцкий использует древнего джинна лишь для того, чтобы с его помо-

щью выявить отталкивающие черты современного обывателя. Одна из этих черт раскрывается в самом начале песни: «У вина достоинства, говорят, целебные. Я решил попробовать: бутылку взял, открыл». От этой фразы так и разит лицемерием. Он, видите ли, пьет не ради удовольствия, а из одной лишь научной любознательности. Но в полной мере мерзость главного героя выступает наружу дальше, именно при взаимодействии с джином. Сначала он на всякий случай проявляет лояльность: «Прямо, значит, отвечай: кто тебя послал? И кто загнал тебя сюда, в винную посудину, от кого скрывался ты и чего скрывал?» Но, сообразив, что джинн может его обогатить, он забывает политграмоту и требует сокровищ. Когда же в ответ слышит: «Мы таким делам вовсе не обучены», – в нем снова оживает гражданская бдительность и он звонит в милицию. Завершается песня второй сценой лицемерия, придающей ей симметрию: «Может, он теперь боксом занимается: если будет выступать – я пойду смотреть». Ясно, что сказочный персонаж имеет здесь уже вспомогательное, второстепенное значение и введен как бы по привычке, по старой памяти. Чувствуется, что он висит на волоске и вот-вот перестанет появляться. Так и случилось. Прошло немного времени, и Высоцкий сочинил песню, которая начинается так:

Мой сосед объездил весь Союз.
Что-то ищет, а чего – не видно.
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.
У него на окнах плюш и шелк,
Клавка его шастает в халате.
Я б в Москве с киркой уран нашел,
При такой повышенной зарплате.

Разве это не тот же самый тип, который позарился на сокровища джина?
Посмотрите, вот такой же лицемерный шантаж:

А вчера на кухне ихний сын
Головой упал у нашей двери
И разбил нарочно мой графин.
Я папаше счет в тройном размере.
Ему платят рупь, а мне пятак,
Пусть теперь мне платят неустойку.
Я ведь не из зависти, я так,
Ради справедливости, и только.

Образ советского мещанина тот же самый, но уже в рамках чисто бытового повествования, без всякой бесовщины.

Высоцкий преодолел искушение делать ставку на внешнюю мистику и стал раскрывать нам внутреннюю мистическую сущность простых и вроде бы знакомых нам вещей, заставляя воспринять их на новом уровне сознания. Он в значительной мере открыл для нас вселенную, в которой мы все живем. Я далек от мысли, будто в период своей поэтической зрелости Высоцкий стал бытописателем. Ничего подобного! Того, кто провел бы нас лишь по закоулкам коммунальной кухни, нельзя было бы назвать открывателем вселенной. Высоцкий как раз выделяется необычайно широким диапазоном интересов. Его волнует все – от пророчицы Кассандры и князя Олега до прыгуна в высоту и попавшего в вытрезвитель забулдыги. Он любопытен, как ребенок. У него удивительная ко всему ненасытность. Создается впечатление, что он хватал для своих песен все, что случайно попадалось под

руку. Такая всеядность, возможно, была бы не очень ценным качеством для поэта, если бы не одна деталь: все, до чего Высоцкий дотрагивался, он превращал в золото и увеличивал этим золотой фонд нашего мироощущения. Его нельзя назвать не только бытописателем, но и вообще поэтом какой-либо определенной темы. У него нет «своей темы», «темы Высоцкого». Это очень важная его отличительная черта, но ее не так-то легко заметить. Всякий может найти у него то, к чему имеет особенное пристрастие, и счесть певцом именно этого. И геолог, и спортсмен, и научный работник, и стюардесса единодушно воскликнут: да что вы, это же наш автор! – имея в виду каждый свое.

Так порой возникают недоразумения. Например, в некоторых некрологах, переданных по радио, Высоцкого изображали едким сатириком и ставили в один ряд с Галичем. Это говорит о том, что в феномене Высоцкого еще не успели как следует разобраться. Объединять его с Галичем только из-за того, что оба играют на гитаре и оба очень талантливы – все равно что объединять человека и страуса на том основании, что оба двуногие. Высоцкий и Галич не только не похожи, но и противоположны, так как первый – поэт типично созидательный, а второй – типично разрушительный. Но я уверен, что с течением времени каждый из них займет в нашей культуре свое собственное место и не будет казаться дубликатом другого. Определить место Высоцкого как раз и поможет тематическая разновидность его творчества, его удивительный «энциклопедизм». Люди такого плана уже встречались в нашей истории, и у них есть вполне определенное название. Всем были присущи точно такие же качества, что и Высоцкому: любопытство ко всему, постоянный восторг первооткрывателя. Это, конечно, просветители. Взяв сочинение любого из них – Ломоносова, Новикова, Добролюбова, Чернышевского, – поражаешься в первую очередь именно их всеядности, невыраженности их интереса к чему-либо одному, стремлению к универсальному охвату всех явлений.

Но между ними и Высоцким имеется важное различие. Все эти люди насаждали в народе разум, Высоцкий же насаждает чувство. Русское просветительство изменило свое направление, и это вызвано изменением исторической обстановки. В 18–19 веках в душе нашего народа было много сложных и высоких чувств, питаемых христианской верой, но его ум отставал. Поэтому тогдашние просветители бросали все свои силы на развитие ума, рьяно внедряли рационализм во всех его формах. Но они перестарались. Культ разума создал почву для распространения социальной утопии, утопия вызвала революцию, а революция уничтожила и религию и Церковь, лишив тем самым народное чувство его мистического корня. В итоге соотношение между рассудком и эмоциями сменилось на противоположное: Россия сделалась страной с напичканной схематическими построениями огромной головой и бесчувственным крошечным сердцем. Понятно, что для выправления такого нового перекоса надобны просветители нового типа: не рассудочные, а душевные. Высоцкий был среди них одним из первых. А если уж говорить о более конкретной аналогии, то я сравнил бы его с Ломоносовым, который, по словам Пушкина, был нашим первым университетом. То же можно сказать о Высоцком: в послевоенной России он стал первым подлинным университетом наших чувств.

Установив, в чем заключалась миссия Высоцкого Владимира Семеновича, легко убедиться, что особенности его одаренности и его творческого метода идеально соответствовали этой миссии. Поскольку его жизненной задачей было эмоциональное просветительство народа, его искусство должно было быть, во-первых, эмоциональным, во-вторых, понятным и доступным широким народным массам. Этому содействовал, конечно, сам жанр – песни под гитару, а также пластичный, богатый суровыми обертонами голос Высоцкого и его огромная музыкальность. Но музыковедческий анализ – не моя область, поэтому мы перейдем к анализу языковых и стилевых особенностей его песенных текстов. Если сказать совсем кратко, то песни Высоцкого по языку можно назвать псевдопростонародными. Префикс «псевдо» обычно подразумевает что-то плохое, но здесь я его употребляю в самом

положительном смысле, в том, в каком бы я сказал то же самое о лучших стихах Никитина или Кольцова. Язык песен Высоцкого по внешности выглядит как подлинная уличная речь и даже включает в себя подслушанные на улице фрагменты такой речи, но он всегда организован с таким мастерством, какое доступно только крупному поэту-профессионалу. Профессионализм достигает у Высоцкого такого уровня, что неопытному глазу становится совершенно незаметен. Завершенность фабулы, внутренние ритмы и аллитерации спрятаны так искусно, что не отвлекают внимания слушателя, а лишь создают благоприятные условия для восприятия содержания. Высоцкий зачастую находит настолько метафорически точные выражения и настолько изысканные рифмы, что иной поэт на одном этом сделал бы карьеру, выпятив наружу этот формальный аспект своего мастерства. Но Высоцкий всегда маскирует свои языковые жемчужины, произносит их скороговоркой и подчиняет все главной, не формальной цели – созиданию целостного эмоционального впечатления. Когда он, например, поет о ведьмах: «Им встретился леший. – Вы камо грядеши?», то слушателю некогда оценивать всю прелесть находки, всю тонкость приема, состоящего в использовании старославянского языка, но он действует на подсознание, моментально создавая ощущение глубокой древности персонажа. Прием срабатывает, но сам по себе остается в тени. И так всюду. Все эти: «ну, а Вологда – это вона где!», «но я свою неправую правую не сменю на правую левую!», или «сам как пес бы так и рос в цепи... Родники мои серебряные, золотые мои россыпи» звучит у Высоцкого так естественно, будто все люди так говорят, будто в этом нет ничего особенного. Но будь у него класс чуть ниже, такие обороты были бы ему не под силу. Обманчива и манера изложения Высоцкого, которая кажется очень простецкой. Вслушавшись в любую его песню, начинаешь поражаться тому, что с первого раза ускользает от внимания: техническому совершенству ее построения. Вот, к примеру, песня, которая вначале производит впечатление типично «блатной»:

Нынче все срока закончены,

(Заметьте: сказано не «сроки», а «срока» – точно так же, как говорят сами заключенные, и это сразу создает атмосферу подлинности.)

А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».

(Ворота крест-накрест – это уже образ, и это никакой урка не придумает, урка умеет петь только о конкретных вещах, скажем, о тоскующей матери или жене; однако слушатели не замечают здесь профессионализма и продолжают воспринимать песню как фольклорную.)

За грехи за наши нас простят:
Ведь у нас такой народ —
Если Родина в опасности,
Значит всем идти на фронт.
Там год за три, если Бог хранит,
Как и в лагере зачет.
Нынче мы на равных с ВОХРами:
Нынче всем идти на фронт.

(Снова блистательный по техническому уровню текст с утонченной рифмой. «Бог хранит – ВОХРа́ми» воспринимается как эзовский, в чем немалую роль играет ловко вставленное словечко «заче́т».)

А у начальника Березкина
Ох, и гонор, ох, и понт,
И душа крест-накрест досками,
Но и он ушел на фронт.

(Ни в каком фольклоре не найдете вы такого умелого повторения образа креста: тюремные ворота крест-накрест и душа начальника крест-накрест.)

Лучше было б сразу в тыл его:
Только с нами был он смел.
Вышей мерой наградил его
Трибунал за самострел.

(А теперь послушайте грустно-счастливый конец, где в третий раз появляется крест.)

Ну а мы – всё оправдали мы.
Наградили нас потом —
Кто живые – так медалями,
А кто мертвые – крестом.
И другие заключенные
Прочитают у ворот
Нашу память застекленную:
Надпись: «Все ушли на фронт».

Резюмируя сущность поэтического метода Высоцкого, можно сказать, что внешняя простота и легкость текста, создающая иллюзию живой речи, сочетается у него с безукоризненной художественной отделкой на всех уровнях – от лексикона до композиции. Это делает текст исключительно доходчивым и в то же время глубоко западающим в душу для самых разных людей – от простого рабочего до академика и от продавца до директора завода. Но именно это и требовалось для выполнения миссии современного просветительства. Не доказывает ли это первичности миссии и вторичности средства?

О каждой из граней таланта Высоцкого можно говорить много. Но, повторяю, об этом всё́м будут еще написаны монографии, и специалисты разберут все по косточкам. А нам в заключение этого краткого очерка о покойном поэте остается попробовать ответить на вопрос: каков же итог его деятельности и в чем могут состоять ее последствия?

Я думаю, точнее всего его жизненный итог выражается словом «прорыв». На войне этим термином обозначается операция, состоящая в том, что мощная боевая единица, чаще всего танковая армия, сокрушает передовую линию противника и проходит в его тыл. Это еще не занятие территории, но важная его предпосылка. Чтобы завоевать эту землю окончательно, на нее должна вступить пехота. Но теперь ей сделать это легче – брешь уже пробита. И чем шире был прорыв, тем вероятнее конечный успех. Прорыв, который совершил Высоцкий, был очень широким. Его жадная ко всему, неумная и страстная душа художника освоила такую массу предметов и событий, что их трудно даже просто перечислить. В этом он далеко оторвался от нас, ушел вглубь территории, пока нам еще чуждой, и крикнул: идите за мной, овладевайте всем этим. На этой земле ждет нас многое такое, что когда-то

нам принадлежало, но потом было утрачено, а есть кое-что и совсем новое. Нам описывали эти места, но описания всегда были сухими и формальными и не вызывали тех чувств, которые вспыхивают в груди, когда видишь все воочию, принимаешь близко к сердцу и знаешь: это твоя земля, без которой тебе не жить и которую надо распахивать и засеивать. Высоцкий зовет нас увидеть ее воочию. Разумом многие из нас знали, что, хотя сейчас мирное время, в глубине океанов идет необъявленная война атомных подводных лодок, от которых при их обнаружении и потоплении отказываются все государства. Знали, что семьи подводников иногда получают краткие похоронки. Но это не было прочувствовано как реальное явление нашей жизни, к которому непременно надо как-то отнестись. А если мы пойдем за Высоцким, оно оживает:

Наш путь не отмечен,
Нам нечем, нам нечем...
Но помните нас!
Спасите наши души!
Мы бредим от удущья!

Теперь это перейдет из разума в душу и станет частью нашего общего бытия, от которого уже не отделаешься... Разумом все понимают, что есть в современной жизни такое явление, как профессиональный спорт, втянувшее в себя тысячи людей. Но те из нас, кто непосредственно с ним не соприкасался, не переживают его, как нечто серьезное, а многие и вообще остаются к нему глубоко равнодушными. Однако если мы пойдем за Высоцким, мы будем твердо знать, что есть в нашей цивилизации эта странная вещь и отмахнуться от нее невозможно. Ведь тот парень, который жалуется: «Тут мой тренер мне сказал: беги, мол!» — это почти я, или ты, или любой из нас, и нельзя же отдать его на откуп циникам и дельцам... Разумом все согласны с тем, что где-то рядом с нами затаилась война, что она в любой момент может вырваться наружу. Но чувствуем ли мы всем своим существом, что такое война?

Песни Высоцкого о войне — это совершенно особый разговор. Я считаю, что они представляют собой вершину его творчества и одну из высочайших вершин мировой поэзии вообще. Его острый интерес к войне закономерен. Как просветителя душ, его должны были в первую очередь привлечь такие виды человеческой деятельности, в которых душевные силы раскрываются максимально полно. Отсюда его тяготение к теме альпинизма и еще больше — к теме войны. И дух войны он передал гениально. В одной из своих книг Бердяев посвятил войне целую главу. Он пишет в ней, что война — коренной экзистенциальный фактор, что она нуждается в глубоком философском осмыслении, что брезгливо-пацифистское к ней отношение совершенно чуждо христианскому мировоззрению, создавшему образ небесного воинства. Все это абсолютно правильно. Но все это, и даже больше, выражено в военном цикле песен Высоцкого. Человек, которому при окончании войны было всего 7 лет, передал ее суть так, как это не удалось ни одному из ее участников. Что стоит один этот символ войны: «певчих птиц больше нет — вороны». Впрочем, цитировать эти песни нельзя — их надо слушать. Послушайте их, и вы откроете для себя войну... В общем, прорыв, сделанный Высоцким, и широк и глубок. Все, что он мог совершить в одиночку, он совершил. Поэтому о последствиях его деятельности можно сказать так: они зависят от нас. Я знаю, что многих покоропят слова «совершил все, что мог». Как же, мол, так, всего 42 года, сколько бы еще мог написать, если бы не такое несчастье! Да, его смерть ужасна своей преждевременностью, проживи он дольше, он многое бы еще сделал. Но мне кажется, это были бы уже не песни, а что-то другое. Его великий песенный прорыв подошел к своему логическому завершению. За год до его смерти мы вместе ехали в машине, и он сказал мне тихо и серьезно: «Я все

тверже прихожу к убеждению, что главное – это Россия, ее люди, ее природа, ее история. И думаю, что моя основная работа должна быть за письменным столом». Трудно сказать, что именно он имел в виду. Но у меня было ощущение, что он поворачивает от душевности к духовности. Не успел. И знал, что не успеет. Поэтому и написал за несколько дней до смерти такие строки: «...Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, / Мне есть чем оправдаться перед ним».

Он-то, конечно, оправдается. Но оправдаемся ли мы? Ведь мы так еще и не начали вслед за ним массированное наступление. Безнадёжно не поспевает за ним наше официальное искусство, вобравшее в себя только малую часть его творчества. Некоторые темы Высоцкого для него пока вообще неподъемны. Отстала от него и наша формально не признанная «вторая культура»: что-то не видно ни равноценных ему бардов, ни способных учеников и последователей. Правда, Пушкин тоже появился лишь через полвека после Ломоносова, но это слабое утешение. Сейчас столько времени на раскачку нам никто не предоставит.

Утешает другое: огромная всенародная любовь к Владимиру Высоцкому. Пожалуй, только после его смерти стало ясно, как она велика. Его похороны вылились в подлинное проявление национальной скорби, его могила стала одной из самых дорогих могил России. Это значит, что он нужен, что его искусство исцеляет. Начавшийся процесс нашего выздоровления вряд ли теперь остановится. Внешнее его протекание может смениться внутренним, менее заметным. Возможно, сейчас как раз такой момент. Нам часто говорят: вот какие вы плохие, у вас нет свобод, вы не можете добиться, чтобы в магазинах были продукты... И говорят так убедительно, и в общем-то верно, что поневоле приходишь в уныние и думаешь: господи, да что же мы за люди? А потом вдруг вспоминаешь: – Но ведь у нас есть Высоцкий! И уныние уступает место надежде.

Памяти Петра Капицы

(Возвращаясь к ненаписанному)

Я всегда любил рассказывать о Капице моим знакомым, и образ этого человека не только не меркнул во мне с годами, но, напротив, становился все более значительным. Несмотря на то что личных встреч с Капицей у меня было немного, я все-таки могу причислить его к одному из «главных людей» своей жизни, так как беседы на этих встречах касались очень существенных для меня вопросов. В общем, внешний заказ совпал здесь с внутренним побуждением, так что оставалось только засучить рукава и засесть за работу.

Но, начав – еще даже не писать, а только обдумывать свои мемуары, – я понял, что моя задача гораздо труднее, чем это показалось вначале.

То есть совсем нетрудно было бы набросать умилительный образ мудрого наставника, оказавшего на меня в период формирования моего отношения к науке благотворное влияние, но это получился бы рассказ не о Капице, а о моем восприятии Капицы, т. е. в конечном счете обо мне. Это был бы перенос мироощущения нашего поколения на человека другого поколения, следовательно, это была бы неправда.

Конечно, многие читатели не заметили бы этой неправды и приняли бы отражение Капицы в моем сознании за самого Капицу. Может быть, я не устоял бы перед соблазном отдать в сборник поверхностную статью, не требующую от меня особых усилий, если бы я вдруг не почувствовал, что этого резко «не одобрил» бы именно тот, о ком я собираюсь писать, – Петр Леонидович Капица.

Двадцать с лишним лет тому назад в издательстве «Знание» вышла брошюра «Жизнь для науки», содержащая четыре биографических очерка Капицы – о Ломоносове, Франклине, Резерфорде и Ланжевене. Я читал много биографических книг, некоторые даже переводил, но изо всех них мне более всего запомнилась эта небольшая книжка. Я считаю ее образцом, которому должны следовать все авторы научно-биографического жанра. Подражать тут надо, разумеется, не стилю и языку, а стремлению к максимальной правдивости портрета. Ведь именно в этой литературе мы более всего встречаем «лакировку». Капица был не только чужд прилизыванию образов великих ученых, он был принципиальным противником такого подхода. Например, в первом очерке упомянутой брошюры изображается не тот Ломоносов, который занял определенное место в науке и культуре двадцатого века, а тот, который существовал в восемнадцатом веке, т. е. реальный, а не легендарный Ломоносов. Избегая проецирования нашей эпохи на эпоху Ломоносова, Капица показывает, что научные занятия Ломоносова не оказали заметного воздействия на современников и даже большинству из них совершенно не были известны. Он отмечает: «Характерно, что никто из окружающих не мог описать, что же действительно сделал в науке Ломоносов, за что его надо считать великим ученым». Однако, разрушая легенду об огромном вкладе Ломоносова в тогдашнюю мировую науку, Капица не только не умаляет его, а, наоборот, возвышает. Отделяя Ломоносова от той внешней данности, которая отчасти напоминает слепой механизм, а отчасти лотерею и называется «цивилизацией», он выясняет, чего стоил Ломоносов сам по себе, каков был подлинный масштаб этого мыслителя и этой личности. Не интересуясь ценой, которая диктуется привходящими обстоятельствами и может быть сегодня высокой, а завтра упасть до нуля, он определяет стоимость Ломоносова – характеристику внутреннюю, а поэтому неизменную. И ему удается показать нам, что стоимость эта очень велика и все поколения русских людей могут и должны гордиться Ломоносовым как великим представителем великого народа. Так, отбрасывая ложную объективность, Капица приходит к объективности истинной. Это он сделал не только в очерке о Ломоносове, но и в других

биографиях, причем не стихийно, а вполне сознательно. Он сам рассказывает, что, когда в Кембридже по случаю столетия со дня рождения Максвелла были прочитаны доклады об этом гениальном физике, он сказал Резерфорду: «Меня поразило, что все говорили о Максвелле исключительно хорошее и представили его как бы в виде сахарного экстракта. А мне хотелось бы видеть Максвелла настоящим, живым человеком, со всеми его человеческими чертами и недостатками». Эту тенденцию переосмысливать даже хрестоматийные утверждения, представляя их более правдивыми, он постоянно проявлял и в своих лекциях. В этом состоит один из его заветов.

Нет, легко это или трудно, но я должен попытаться восстановить образ того Капицы, каким он был в действительности, а не каким казался и кажется. То, что я располагаю скудным материалом, не может служить оправданием для отказа от решения этой задачи. Отказаться можно было бы только от самой статьи, но не от правды в статье. А от статьи отказываться мне не хочется...

Но как проникнуть в душу человека, жизненный опыт которого так отличен от моего собственного? И, более того, – от опыта всего нашего поколения? Капица видел то, о чем мы только слышали, и слышал то, о чем мы можем лишь догадываться. Примеры? Пожалуйста. Скажем, он неоднократно видел Иоанна Кронштадтского и слышал его проповеди. Убийство Александра Второго выступало для него в детстве как событие сравнительно недавнее, а когда началась Русско-японская война, он был уже вполне сознательной личностью. Много лет он провел в Англии, и буквально на его глазах Резерфорд создавал свою знаменитую модель атома. В начале нынешнего века за мешок хлеба Кустодиев изобразил его на картине вместе с его другом Колей Семеновым, а во второй половине века оба они получили по Нобелевской премии. В Англии он успел еще увидеть закатную зарю Викторианской эпохи, а в России попал одно время в немилость к самому Сталину. Могу ли я реконструировать внутренний мир такого человека? Не безнадежны ли окажутся все мои попытки?

Они были бы и в самом деле безнадежны, если бы не одно спасительное обстоятельство: все люди сродни друг другу и в своей сокровенной глубине имеют *общую* природу. Правда, есть разные человеческие типы, но их не так уж много, а главное – все они в потенции наличествуют у каждого человека, хотя реализуется лишь один из них. Это как в модели атома по Нильсу Бору: энергетические уровни могут быть не какие попало, а лишь «разрешенные». Если мы допустим, что всякий атом, занимая определенный уровень, знает и обо всех остальных, получится совсем хорошая аналогия. Положение вещей, описываемое этой аналогией, обеспечивает возможность «вживания» писателя в образ своих героев, и само существование художественной литературы подтверждает такое положение вещей. При этом главным становится отыскание ключа к человеку, определение его «типа», остальное дается уже значительно легче. И мне кажется, что я нащупал «тип» Капицы, который сейчас же и назову. Суть Капицы как ученого состояла в том, что он был РОМАНТИК НАУКИ.

Его научный романтизм был органичным и окрашивал всю исследовательскую, организационную и преподавательскую его деятельность. Эту черту не могли вытравить ни время, ни обстоятельства. Я не знаю, какую роль в появлении в нем этой доминантной черты играли врожденные особенности, а какую – приобретенные, но я знаю, что сейчас в науке таких людей уже нет, ибо эпоха научного романтизма кончилась. И если говорить о крупных фигурах, то Капица был ПОСЛЕДНИМ РОМАНТИКОМ НАУКИ, а поэтому соединил собой две эпохи. Это делает его личность особенно интересной, а историю жизни – поучительной.

Романтизм, о котором я говорю, не должен пониматься, как нечто незрелое или наивное. Это не переходная фаза к чему-то более серьезному, а являющееся само вполне серьезным и внутренне обоснованным специфическое отношение к окружающему миру и своему

месту в нем. Представители этого романтизма зачастую проявляют даже большую реалистичность в оценке событий, чем захватившие ныне науку в свои руки прагматики. Это особенно хорошо видно как раз на примере Капицы. Он никогда не носил розовых очков, и от его высказываний часто веяло какой-то освежающей трезвостью. Чтобы было ясно, что я имею в виду, приведу две иллюстрации. Первая из них – это то, что я уже говорил выше о его биографических очерках, в которых отсутствовала какая-либо восторженность, неправильно связываемая многими с романтизмом. Вторая иллюстрация – неоднократно высказываемая Капицей в докладах и статьях пессимистическая точка зрения на энергетическое будущее человечества. Приводя неумолимые цифры и факты, он безжалостно развеивал мечты о широком освоении солнечной энергии и геотермальных источников (слишком мала плотность энергоснабжения) и ядерной реакции деления (появление вредных радиоактивных отходов). Что же касается ядерной реакции синтеза, то, по мнению Капицы, если она даже будет осуществлена в контролируемой форме, то ввиду неизбежного рассеяния части получаемой энергии в окружающую среду это приведет к повышению средней температуры земли со всеми грозными последствиями этого – к таянию льдов Антарктиды, неустойчивому климату и т. д. Этот пример особенно интересен, так как те люди, которых принято в обиходе называть романтиками, как раз очень любят разглагольствовать о «неограниченных возможностях», которые открывает перед человеческим родом наука, о захватывающих перспективах на грядущие века в материальном процветании общества. Капица не только не имел ничего общего с такими людьми, но даже был им в некотором смысле антагонистичен.

В чем же тогда заключался его романтизм?

Он заключался в том, что на протяжении всей жизни главным стимулом его исследований было то обстоятельство, что эти исследования очень интересны. Это было для него определяющим в физике. Разумеется, он много внимания уделял и извлечению практической пользы из своих научных открытий и, более того, всегда стремился довести разрабатываемую в его институте тему до стадии технических приложений, но и это было следствием того же самого любопытства. Глядя на окружающий нас физический мир, Капица умел отыскать в нем то одну, то другую захватывающую головоломку и, отыскав ее, начинал неотступно думать над ее решением. Возможность практических применений научной идеи тоже воспринималась им чем-то вроде шарады, и он брался за эту шараду с тем же трепетным интересом, с каким приступал к обдумыванию принципиальных научных проблем.

Это отношение к науке как к занятию, привлекательному самому по себе, независимо от его утилитарного значения, было настолько органичным для Капицы, что оно как освежающей волной обдавало каждого, кто соприкасался с ним как с физиком, а особенно его студентов. Переняли ли они это отношение от своего профессора и сохранили ли в себе? Понесли ли и дальше ту эстафету чистой научной любознательности, которую он им вручил, усвоили ли традицию смотреть на физическое исследование как на расшифровку великого плана устройства вселенной, заложенную самим Ньютоном и дошедшую до них через Бойля, Фарадея, Максвелла, Томсона, Резерфорда и Капицу? Пока могу лишь сказать, что мне очень хотелось бы ответить на этот вопрос положительно...

Помню, как на рубеже сороковых и пятидесятых годов большую, устроенную амфитеатром аудиторию в старом здании Московского университета на Моховой раз в неделю заполняли первокурсники физико-технического факультета. Впрочем, туда являлись и многие второкурсники, и еще какой-то более взрослый люд – вероятно, сотрудники Капицы и аспиранты. Ведь это было событие! На самом верху, тщательно все записывая, сидел сын Петра Леонидовича, Сережа, тогда еще совсем молоденький. Академик читал курс экспериментальной, или «общей», физики. Эти лекции, в отличие от всех других, не давали строго систематических знаний. Тем не менее уже тогда мы интуитивно понимали их большую важность и всегда являлись на них в полном составе. И интуиция нас не подвела. Сейчас, по

прошестии более чем тридцати лет, эти лекции выступают в ретроспективном осознании как самое яркое из всего, что украшало наши студенческие годы, как дорогое воспоминание, окрашивающее ностальгическим чувством то невозвратное время. И причина этого проста: на лекциях Капицы мы и в самом деле сталкивались с очень важной вещью – тем настроением души, который обеспечил ученым прошлого возможность создать могучую современную науку и после этого стал постепенно угасать, уступая место настрою совершенно иному, на него не похожему и уже не содержащему в себе такого творческого потенциала. Застать и почувствовать «кожей» этот чистый дух физического исследования, породивший нынешнюю всепроникающую технологию и этой самой технологией угашенный, посчастливилось из ныне здравствующих людей сравнительно немногим. И среди тех, кому повезло, были мы – молодые студенты физтеха.

Ткань этих лекций имела четко выраженные продольные и поперечные нити. Продольными, проходящими через весь курс, были замечательные «лирические отступления» – рассказы о физиках, об их судьбе, о благородстве одних из них и неблаговидных поступках других, воспоминания о великом Резерфорде, а также спонтанно рождающиеся по ходу изложения размышления на самые различные темы – от проблемы приоритета в науке до постановки дела подготовки научных кадров. В этой части Капица воспитывал нас как людей, прививал нам те нравственные принципы, которые были характерны для ученых великой романтической эпохи. Поперечными нитями служили конкретные частные вопросы, которые входили в учебную программу – скажем, свойства гравитационного поля, устройство катушки Румкорфа, внутреннее преломление света и т. п. Но и здесь Капица не только учил нас, но и воспитывал – теперь уже как будущих физиков, исследователей. Тут он как раз и вырабатывал в нас отношение к физике, как к страшно интересному предмету. Средство, употребляемое им для этого, было всегда одно: ставя тот или иной, тысячи раз поставленный ранее, опыт или вывод на доске давно входящую во все учебники формулу, он делал это так, будто все происходит впервые в истории, т. е. на наших глазах совершается Открытие! Как и все остальное, Капица делал это вполне обдуманно. Однажды на лекции он даже приоткрыл нам тайну своего метода – правда, говоря не о себе, а о своем учителе Резерфорде. Он рассказывал, как Резерфорд на своих лекциях каждый раз заново выводил закон соударения двух твердых шариков (формула была необходима ему для обоснования своей революционной модели атома, предполагающей наличие весьма малого ядра и сравнительно обширной электронной оболочки), к следующему разу все опять забывая и, видимо, намеренно не желая готовить вывод перед лекцией. Капица одобрял и как бы «непрофессиональное» поведение Резерфорда, считая, что некоторая затяжка времени окупается здесь подлинностью демонстрируемого творческого процесса. И, раз он одобрял его, значит, считал желательным подражать ему – и действительно подражал. Одним из полезнейших следствий такого рода поведения было то, что Капица своим примером учил нас удивляться. Ведь без способности удивляться тому, что для остальных кажется само собой разумеющимся, нет настоящего ученого. Говорят, у Ньютона был старший брат – как и их отец, простой фермер. Однажды будущий физик, тогда еще юноша, сказал брату: «Знаешь, что меня поражает? Что все тела падают вниз!» Тот в ответ покотился со смеху: «Ну и глуп же ты, Исаак, куда же им падать – вверх, что ли?» А потом младший брат стал гениальным ученым, а старший так и остался землепашцем. Не знаю, был ли и вправду такой эпизод в жизни Ньютона, но уверен, что общая теория относительности была обязана своим возникновением тому, что однажды Эйнштейн удивился независимости ускорения тел в гравитационном поле от их массы.

Вот этим-то умением широко открытыми и удивленными глазами смотреть на природные процессы Капица заражал своих учеников. Для него был важен внутренний настрой человека, наличие в человеке научного романтизма, и тогда он выделял его из массы и ста-

рался помочь утвердиться в физике. В этой связи расскажу о случае, относящемся ко мне, так как это тот случай, который известен мне лучше всех других. Кажется, в начале второго курса я ради интереса поставил перед собой задачу: каковы должны быть длина и толщина кварцевой нити, чтобы использующие ее крутильные весы могли обнаружить световое давление? Конечно, задача эта очень проста, но на тогдашнем уровне моих математических познаний мне пришлось с ней основательно повозиться. Наконец я получил нужную формулу, подставил в нее параметры кварца и выписал окончательный ответ. Гордый самостоятельно полученным результатом, я оформил его в виде микрореферата, сделав поясняющие чертежи и рисунки. Не помню, кому я хвалился этим «трактатом», но каким-то путем он дошел до Капицы. И вот я узнаю: Петр Леонидович говорит на кафедре, что студенту Тростникову надо предоставить все необходимые материалы и приборы и пусть он в институтской лаборатории поставит опыт Лебедева. По какой-то причине я этого не сделал, но сам факт интереса у знаменитого академика к моему «детскому лепету» произвел на меня сильное впечатление и заставил о многом задуматься. Но лишь теперь я до конца понял, что скрывалось за этим неожиданным интересом. Капица учил нас не физике, а учил быть физиками, а понятие «физик», как и вообще «ученый», определяется не внешними признаками – суммой знаний, – а внутренними – способностью быть любопытным по отношению к природе и стремлением во что бы то ни стало свое любопытство удовлетворить.

С убежденностью Капицы в первичности внутреннего фактора в творчестве и в «производной» природе внешнего я столкнулся несколько позже еще раз. Увлечшись математикой, я задумал перейти на мехмат МГУ. Переводы такого рода администрацией не поощряются, поэтому я попросил аудиенции у Петра Леонидовича, рассчитывая на его содействие. Рассказав об изменении своих интересов, я спросил, не сможет ли он походатайствовать за меня перед ректором. Не стану приводить всю нашу беседу, имевшую для меня большое воспитательное значение, но в ней Капица выразил мнение, что совершенно не важно, какой диплом получает начинающий ученый, ибо важно только то, чем он интересуется. «Вы вполне можете заниматься математикой, кончив физический факультет», – сказал мне Капица, и этой фразой проблема, так долго мучившая меня, была мгновенно решена. Добавлю, что, окончив физфак МГУ, я впоследствии стал заниматься чистой математикой и диссертацию защитил уже в этой области науки, так что мудрость моего наставника вполне себя оправдала.

Понимая, что нельзя ждать, пока каждый студент сам увлечется чем-то и самостоятельно поставит перед собой задачу, которая на его стадии развития будет для него творческой проблемой, он решил помочь нам и дал собственную подборку физических задач. В годы нашей учебы она «ходила по рукам» в машинописном виде и лишь в шестидесятых годах была опубликована в брошюре издательства «Знание». Затем, уже в дополненном виде, она печаталась и в других издательствах, и ныне достаточно широко известна, так что анализировать ее тут нет надобности. Скажу только, что все «задачи Капицы» были сформулированы именно так, чтобы студент, избравший какую-то из них для размышления, чувствовал себя пионером в исследовании некоторого явления, поскольку к ним не было дано никаких ответов и даже было непонятно, решал ли их сам Капица или нет. Характерной особенностью этих задач было то, что нужные для решения параметры не давались и их приходилось брать из справочников, а также то, что при решении необходимо было учитывать не только свойства того объекта, по отношению к которому ставился вопрос, но и поведение окружающей его среды, т. е. четко осознавать всю физическую ситуацию в целом. Скажем, решить задачу: «Река образует наклонную плоскость; может ли тело из-за этого плыть по реке со скоростью, превышающей скорость течения?» – можно лишь при том условии, что человек разобрался в картине распределения скоростей в толще воды. «Скоростью течения» мы называем фактически только скорость самого верхнего слоя воды, но под ним лежат слои,

имеющие все меньшую скорость движения, а на самом дне вода неподвижна. Этот, обычно игнорируемый, факт и всплывает наружу, когда мы приступаем к размышлению над задачей, и уже одно это оказывается полезным.

Я добавил бы к этому, что «задачи Капицы» трогательны сквозящей в них заботой о студентах. Труд по их составлению был проявлением душевной щедрости, т. е. в конечном счете любви к людям. Те, кто знал Петра Леонидовича близко, единодушно говорят, что он был исключительно доброжелательным человеком. Нам, конечно, было не так просто уловить эту его черту, так как разница положений студента и академика все же очень велика и особой интимности в отношениях здесь быть не может. Сокровенность его доброты усугублялась еще и тем, что это был человек железной воли, а это качество воспринимается людьми, не обладающими большим жизненным опытом, как противоположное доброте.

Но мне все же повезло и здесь. Однажды я совершенно случайно присутствовал при его неожиданной встрече с академиком В.А. Фоком. Я писал тогда брошюру об А.А. Фридмане и нуждался в интервью с хорошо знавшим его Фоком. Последний назначил мне встречу в Президиуме Академии наук СССР, куда прибыл из Ленинграда по какому-то делу. И вот, в момент нашего разговора, в комнату случайно заглянул Капица. Не могу передать, как просияло его лицо. Я был надолго забыт и затаив дыхание следил из уголка за сценой свидания двух любящих друг друга людей. Не было такой мелочи, относящейся к быту, которую бы не выспросил Петр Леонидович, выясняя, насколько удобно устроился в Москве Владимир Александрович. Много раз при этом дознании он приходил в ужас от жутковатых условий проживания ученого и каждый раз при этом предлагал переехать к нему на Николину гору, уверяя, что этот переезд не составит никакого труда, так как есть и машина и шофер. Неуютное казенное помещение вдруг озарилось светом и наполнилось теплом, а два титана мировой науки вдруг сбросили маски «величия» и сделались теми, кем они всегда на самом деле и оставались – навеки преданными друг другу товарищами.

Вспоминая невольно подсмотренную мною встречу академиков Капицы и Фока, я вижу в ней теперь новую сторону. Я начинаю догадываться, что эмоциональность этого свидания объяснялась тем, что тогда сошлись два представителя вымирающей породы ученых, сошлись «последние из могикан». Фок был всего на четыре года младше Капицы и в молодости варился в той же кухне европейской физики, которая была родной и для Капицы. Хотя Капица был экспериментатором, а Фок – теоретиком, они были близкими коллегами по созданию новой физики, основанной на ядерно-оболочечной модели атома и квантовых представлениях. В этой работе они участвовали совместно с блестящими физиками своего поколения Бором, Дэвиссоном, Комптоном, Де Бройлем, Гейзенбергом, Шредингером, Дираком, Паули, Штерном, Эренфестом и другими. А в то время, когда произошла их встреча в апартаментах Академии наук, большинство из этих физиков, чьи имена звучат для нас как абстрактные символы таких-то открытий, а для них наполнялись конкретными воспоминаниями о близких людях, каждый из которых был неповторимой, непохожей ни на кого другого личностью, – большинство из них уже оставили сей мир. Два тлеющих уголька, оставшихся от грандиозного костра человеческого гения, волею судьбы сблизилась и на несколько минут стали снова разгораться. Но вернуть тот небывалый огонь, осветивший глубочайшие тайны материи, было уже невозможно...

Да, своеобразие прошедшей эпохи, ее «психологический тип», проявлявшийся в наиболее активных ее деятелях, нельзя воспроизвести заново, даже если очень захочется. В жизни человечества все настолько связано, что для восстановления прежнего духовного настроения надо было бы восстановить всю структуру прежней жизни, начиная от бытовых условий и средств связи и кончая распространенными тогда традициями; а к тому же и вычеркнуть из памяти новейшую историю, оказывающую на умы необратимое воздействие.

Это, разумеется, совершенно невозможно, еще не было в истории случая, чтобы ностальгия, пусть даже очень сильная, породила что-то более серьезное, чем стилизацию под старину и музеи. И было бы пустым занятием призывать сейчас к тому, чтобы наука опять украсилась ореолом романтики, окружавшим ее в начале нашего столетия. Этот атрибут придали ей тысячи и миллионы объективных причин, нам неподвластных и в большинстве своем нам неизвестных. Плеяда научных романтиков сделала свое историческое дело и удалилась со сцены. Это произошло уже на наших глазах, ибо мы видели и знали того из плеяды, кто ушел последним, – Петра Леонидовича Капицу. И мы должны ясно понять, что в ближайшее время таких людей в науке уже не будет, ибо настала новая эпоха.

Но хотя мы не можем вернуть прошедшего (да это и не нужно), мы обязаны сделать из него выводы, которые могут быть полезными для настоящего. Вглядевшись в ярчайшего представителя этого прошедшего – Капицу, мы заметили, что главной чертой его натуры было отношение к науке как увлекательнейшему разгадыванию загадок природы, т. е. как к занятию чрезвычайно интересному, независимо от получаемой от него выгоды – как для общества, так и для себя лично. Конечно, эта же черта была свойственна и всем крупным физикам его эпохи, работавшим в первой половине двадцатого века. Это были подлинные энтузиасты, а нередко и фанатики науки, и величайшее счастье им доставлял сам процесс исследования. И что же? Именно эти бескорыстные романтики заложили базу всей той корысти, которую мы извлекаем теперь в огромных количествах из научных достижений. Когда они стали уходить из науки, расширение и укрепление этой базы остановилось. Ведь не секрет, что после создания в 1930-х годах квантовой механики, т. е. на протяжении уже пятидесяти лет, в физике не было получено ни одного фундаментального результата. Теория элементарных частиц топчется на месте, и ей не помогают миллионные затраты на гигантские ускорители, единой теории поля нет, геометро-динамика представляет собой лишь набор «программ», и даже лазеры, которыми мы так склонны гордиться, явились реализацией теоретического расчета Эйнштейна, сделанного в 1916 году. Но мы не хотим видеть этого и продолжаем говорить и писать о быстром развитии науки, выдавая за него развитие технологии. Однако, когда технология исчерпает научную базу, ее рост прекратится, и тогда нам уже вообще нечем станет гордиться – ни наукой, ни технологией.

Я не могу дать по этому поводу каких-то рекомендаций, да и кто я такой, чтобы давать кому бы то ни было рекомендации? Но я позволю себе высказать на этот счет некоторые субъективные соображения, навеянные образом Капицы. Мне кажется, что постоянное акцентирование в печати, докладах, по радио и по телевидению практической пользы науки является неправильным и недальновидным. Мы боремся с тем, чтобы наука не превращалась в кормушку для защитивших диссертации, но не понимаем, что ее нельзя представлять кормушкой и для всего человечества в целом. Конечно, не надо делать вид, будто нас интересует лишь чистое познание, а не польза, но надо начинать не с пользы, а с познания. Если оно будет истинным, а не фальшивым, то польза последует обязательно, ибо никакое проникновение в тайны природы не может не принести пользы – в том или ином смысле. В понятии «научно-техническая революция» мы делаем ударение не на том слове, и это совсем не безобидно, ибо может привести к тому, что никакой «революции» вообще не произойдет. В произнесении этой формулы нам нужно подражать нашим великим покойным учителям, которые совершили полвека назад великую научную революцию, а совершив, не впали в хвастливость и не ударились в прожектерство, а до конца своих дней оставались в твердом убеждении, что величайшим из всех триумфов является триумф познающей мир человеческой мысли.

Он один знал, куда ведет Россию

Старец проснулся в обычное время, попытался подняться и не смог, такая охватила слабость. И понял, что уже не встанет.

За окном было еще темно, бревенчатые стены озарялись лишь тусклой лампадкой. Страх смерти не было. И снова, в который раз, он начал перебирать свою жизнь, чтобы еще до Страшного Суда дать ей свою собственную оценку.

Если это был он

Скромный путевой дворец. Скоро зима. Что делать? Возвращаться в Петербург, ежедневно напоминающий ему об отце, опять оказаться в центре придворной суеты и с деланной улыбкой на лице ждать, когда масоны приведут в исполнение приговор, вынесенный ему за запрещение их лож? Господи, но это же было свыше моих сил! А тут такой шанс, какого больше не будет. Верный друг Дибич не проболтается, а лейб-медик Вилье за хорошие деньги составит заключение о смерти. И составил, только в протоколе осмотра трупа допустил ошибку: отметив повреждение от падения в молодости с лошади, о котором не раз слышал, перепутал левую ногу с правой. Но на это, к счастью, никто не обратил тогда внимания.

Господи, простишь ли меня за это решение? Обман народа, вовлечение брата в великий грех – помазание в

Успенском соборе на царство при живом миропомазаннике. Старец застонал, как от физической боли, и уставшая от напряжения его душа обратилась к более светлым воспоминаниям – к романтической дружбе с Адамом Чарторыжским, ко встрече в Париже с Лагарпом, который воспитывал его в республиканском духе, а потом сам стал убежденным монархистом. И, конечно, как всегда, появился тот самоуверенный, смелый, гениальный – с которым он шесть лет вел сложнейшую партию-многоходовку и поставил-таки ему под Лейпцигом мат, оказавшись более хитрым игроком, что и сам побежденный признал на острове Святой Елены...

Вот какие тени слетались к убогой крестьянской избе на окраине Томска в начале февраля 1864 года. Если, конечно, это был ОН.

Начало царствования

Не было в России монарха более недооцененного, более окарикатуренного в литературе, а потом и в фильмах, чем Александр Первый. «Плешивый щеголь, враг труда» – вот что получил он вместо благодарности за труды на благо Отечества. И от кого получил? От поэта, выучившегося на его деньги в основанном им лицее – одном из многочисленных новых учебных заведений, сеть которых царь создавал на всей территории России, считая просвещение граждан важным этапом подготовки отмены крепостничества. Даже к ненавидимому дворянством за попытки ограничить его своеволие и потому оклеветанному Павлу история не так несправедлива.

А за что, кроме просвещения, было благодарить Александра I – может, больше и не за что? Ответить на этот вопрос чрезвычайно легко, надо лишь вспомнить евангельскую мудрость: о дереве судят по его плодам. А плоды всякого царствования – суть те изменения, которые произошли в стране за его годы. Значит, нам надо взять Россию 1825 года, когда

Александр покинул трон, и вычесть из нее Россию 1801 года, когда он на него взошел. Разница и будет плодом, по которому надо оценивать правление этого императора.

Политическое наследие, которое ему досталось, было ужасающим. Никакого законного государственного порядка не существовало, действия власти, как и то, кто завтра будет у власти, предсказать было невозможно. Дворянская верхушка, трепетавшая перед Петром и потому державшаяся в рамках дисциплины, после его смерти с накопившимся за 30 лет нетерпением рванулась к власти. Пользуясь тем, что Петр не оставил никаких указаний, касающихся твердого порядка престолонаследия, она стала действовать, как преторианцы в Древнем Риме – возводить на трон того, кто, по ее мнению, хорош для нее. Так наступила «эпоха дворцовых переворотов», как назвал ее Ключевский. Легкость смены монархов была невероятной. Анна Иоанновна стала императрицей по интригам одного человека – боярина Дмитрия Голицына; Елизавету Петровну посадили на престол 19 гвардейцев; убили Петра Третьего и наделили верховной властью Екатерину Вторую два человека – братья Орловы; зверски забили до смерти Павла Первого – граф Пален с десятком пьяных поделщиков. Тридцатилетнее отсутствие переворотов при Екатерине (не считая неудавшейся попытки Пугачева) не должно создать иллюзии, будто установилась наконец законность. Наоборот, на большинство населения, т. е. на крепостных крестьян, распространилось в этот период самое чудовищное беззаконие – они были превращены в безгласных и бесправных рабов. Просто эта мудрая правительница всемерно баловала дворян – дарила им земли, отнятые у монастырей и завоеванные в результате успешных военных кампаний, истратила 40 миллионов на своих фаворитов. Понятно, что они пылинки сдували со своей «матушки-государыни».

Правил железной рукой в бархатной перчатке

Вот какую страну получил в свои руки Александр – северный вариант латиноамериканской «банановой республики», где все решает очередная хунта. При этом ему был показан изуродованный труп отца, увидев который он, как стоял, так и рухнул навзничь. Это был намек: видишь, что бывает с царями, которые не находят с нами общего языка! Этот намек Александр прекрасно понял и в один день превратился из юноши с открытым сердцем, видящим в каждом человеке прежде всего хорошее, в глубоко спрятавшего в себе свои настоящие мысли и чувства актера, игравшего роль безобидного простачка. Он прослыл безвольным, подверженным внешним влияниям – то «интимного кабинета», то Сперанского, то Аракчеева, то архимандрита Фотия – и этим усыпил бдительность дворянства и сохранил себе жизнь, а на самом деле он умело использовал то одних, то других фигурантов, чтобы они, каждый на своем этапе, содействовали осуществлению его стратегической программы, известной только ему. И вдобавок к тому, что он переиграл французского императора, ему удалось переиграть и русское дворянство, сковав его амбиции прочной сетью законов, властью Государственного совета, укреплением местной администрации разного уровня нормативными актами, накопившимися постепенно и незаметно. И когда очередные заговорщики 14 декабря 1825 года подошли к Зимнему дворцу уже не с кучкой авантюристов, а с целым войском, вместо взрыва, который должен был сбросить Николая, получился пшик: Россия была уже не та. В конце царствования Александра она стала ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ, пусть даже лишь отчасти.

Стоит ли докапываться до правды?

Неужели он дожил-таки до освобождения крестьян, о котором мечтал с первых дней своего правления и которое так основательно и всесторонне подготавливал?

Есть много убедительных доводов в пользу мнения, что таинственный сибирский старец Федор Кузьмич был на самом деле покинувшим престол императором Александром. Но все эти доводы косвенные. Прямым доказательством мог бы стать только сравнительный анализ ДНК. Провести его проще простого. В Томске лежат мощи Федора Кузьмича, ставшего местночтимым святым, в Голландии наверняка найдутся потомки по женской линии королевы Анны Павловны – родной сестры Александра Павловича. Московский патриарх и нынешняя голландская королева Беатрикс благословение на экспертизу, думается, дадут, а обойдется она всего в несколько тысяч долларов. Вопрос в другом: нужно ли раскрывать тайну человека, который сознательно решил унести ее в могилу?

Кто нашей стране нужней – губернаторы или сатирики?

Двадцать восьмого января 2006 года исполнилось 180 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Круглая дата весьма кстати заставляет нас вспомнить об этом выдающемся сыне России, который в последнее время почти выпал из нашего общественного сознания. Кстати не только потому, что забывать о людях, составляющих гордость нации, всегда нехорошо, но и потому, что для осмысления сути его творчества нынче есть особые причины.

Два дела ради одной цели

По прошествии длительного времени мы обычно имеем дело не с человеком, а с его образом, и чем масштабнее человек, тем большему искажению подвергается его образ. В случае Салтыкова-Щедрина – фигуры масштаба поистине громадного – образ потерял всякую схожесть с оригиналом, и нам надо начать с восстановления хотя бы минимальной правды об этом деятеле.

Правду о нем надо искать прежде всего в том, как воспринимали его современники, что он делал для той России, в которой жил. А делал он вот что: с огромным напряжением, на пределе отпущенных ему сил и очень действенно служил тому конкретному отечеству, в рамках которого протекало его земное существование.

А что было отпущено ему судьбой? Великий литературный талант, редкие административные способности и бесконечная любовь к своей Родине. Окончив знаменитый Царскосельский лицей, задуманный Александром Первым как «кузница высших управленческих кадров», он уже в возрасте 18 лет поступил на государственную службу, на которой с небольшими перерывами провел около двадцати лет. Эта сторона его жизнедеятельности часто замалчивается, и очень напрасно, ибо по затраченной на нее энергии и принесенной ею пользе она вполне сравнима с его литературным трудом. В Рязани, а затем в Твери он был вице-губернатором. В трех губерниях – Пензенской, Тульской и той же Рязанской он занимал другую генеральскую должность управляющего казенной палатой – фактически местного министра финансов. И главным, чему он посвящал свои усилия на этих высоких постах, была борьба с коррупцией, как и ныне, захлестывавшей тогда Россию. Всюду, где он служил, он становился грозой взяточников.

Вскоре он решил, что локальными мерами положения в стране не исправить и что надо привлекать внимание общества к недостаткам административной системы в целом, обволакивающей всех царских ревизоров патриархальной лаской и щедростью и тем самым не позволяющей Петербургу составить истинное представление о ситуации в провинции. Так Салтыков-Щедрин встал на путь литературной сатиры, которая сделалась второй стороной его государственного служения. Но после его кончины вспоминали только об этой второй стороне, и в каждую эпоху трактовали ее так, как было выгодно для текущего момента. Этого он не предусмотрел.

Над кем он смеялся

Что представляют собой «Губернские очерки», «Пошехонская старина», «История одного города», сказки Салтыкова-Щедрина? Конечно, это смех сквозь слезы. Это не бичевание кого-то, каких-то внешних злых сил, это *самобичевание*. Салтыков-Щедрин говорил

читателям: что же мы с вами за люди, не проявляем никакой инициативы и возлагаем все упования только на начальство, которое от этого нагнет и коснеет в лени и тупости? И это «мы» всегда оставалось единственным предметом его едких насмешек, нигде не переходя в «они». В послереформенной России Салтыков-Щедрин был таким знаменитым патриотом, так ясно выразил свое антизападническое мировоззрение в «Убежище Монрепо» и свое восхищение сметкой и умом русского народа в блистательной сказке «Как один мужик двух генералов накормил», так добросовестно нес цареву службу, что никому не могло прийти в голову заподозрить его в русофобии или в призывах к свержению монархии. Зная о своей репутации, он позволял себе порой перегибать палку, и это было проявлением недальновидности, которая впоследствии дала возможность спекулировать на его имени.

Большевики записали его в свои ряды

При советской власти Салтыков-Щедрин сделал посмертно блестящую карьеру, которой, конечно, никогда себе не пожелал бы. Но марксисты не спросили его согласия и беспардонно записали в революционеры. Разумеется, это была величайшая фальсификация. Салтыков-Щедрин убедительно доказывал, что наши беды коренятся в наших собственных недостатках и, чтобы жизнь стала лучше, надо признать эти недостатки, покаяться и очиститься от них; советские идеологи приписали ему совершенно противоположную мысль: мы хорошие, а живем плохо потому, что у нас плохая власть, которую, следовательно, надо сбросить. В таком «откорректированном» виде в 1934 году был экранизирован роман «Господа Головлевы», ничего общего не имевший с революционной пропагандой и представлявший собой высокохудожественный образец критического реализма. В 1946 году в докладе Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» было прямо сказано, что партия «устами Ленина и Сталина неоднократно признавала огромное значение великих русских революционно-демократических писателей и критиков – Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, Плеханова». Вот в какую компанию попал бедный вице-губернатор – все, кроме него, тут откровенно деклассированные маргиналы! Вот цена неосторожности в высказываниях.

Куда конь с копытом, туда и рак с клешней

Но еще хуже, лживее и гаже большевиков извратили литературные находки Салтыкова-Щедрина люди, которые появились лишь в начале двадцатого века, в его середине стали очень популярными, а сегодня просто-таки доминируют на эстраде и на телевидении. Народ метко припечатал их кличкой «смехачи».

Сами-то они считают себя сатириками. Но объект их сатиры – не «мы», а «они», только теперь это уже не власти, а простые русские люди, наш народ. Эта русофобия началась с давнего сюжета Жванецкого «В греческом зале, в греческом зале», а сейчас достигла апогея. Чтобы доказать это, придется, преодолевая отвращение, привести цитату. Как-то раз по всероссийскому телеканалу под «фанеру» с записью идиотского гогота толпы был озвучен неким смехачом такой текст: «Купец поехал в дальние страны, спросил дочерей, что им привезти. Старшая сказала: бальное платье. Средняя сказала: накидку с камнями. Младшая же попросила: “«Привези мне чудище мохнатое для сексуальных утех”...»

Все. Дальше падать некуда, это дно. Любой узнает здесь самую целомудренную и самую трогательную сказку «Аленький цветочек», вызывавшую слезы умиления и восхищения бескорыстной самоотверженной любовью у многих поколений русских деток. Современному смехачеству необходимо было отравить и это ядом цинизма и пошлости. Теперь оно может торжествовать.

Мне понятно, что могут рождаться на свет такие моральные уроды, как этот «сатирик». Мне понятно и то, что по нашей лености не нашлось человека, который специально разыскал бы этого негодяя, чтобы плюнуть ему в лицо. Но одного я так и не могу понять – что в его репризе смешного.

Думаю, этого не понял бы и Салтыков-Щедрин, если бы вернулся к жизни. А мы не стали бы ему ничего объяснять и посоветовали бы, дабы не плодить бездарных подражателей, не высмеивать глупость публично, а возглавить какую-нибудь губернию и устраивать в ней жизнь по-умному.

За всех за нас вы думали в Кремле

Начиная разговор о Сталине, нужно отдавать себе отчет в том, что ты непременно навлечешь на себя чей-то гнев. Что бы ты о нем ни сказал, какую бы ни дал оценку его личности и его деятельности, всегда найдется достаточно много людей, которых это возмутит. Единственным способом избежать негодования было бы говорить о Сталине так, как говорят о Навуходоносоре, жившем две с половиной тысячи лет назад и сделавшемся за это время чистой абстракцией. Но это невозможно, ибо для большинства наших граждан умерший всего полвека назад вождь представляет собой живую конкретность.

Однако само наше пристрастное отношение к этой персоне делает ее обсуждение актуальным и даже необходимым. Ведь все равно рано или поздно эмоции надо будет заменить трезвым подходом, и лучше это начать делать до того, как историческая правда начнет забываться и вместо реального Сталина появится Сталин мифологический. Пятьдесят лет – срок для этого оптимальный: страсти уже поостыли, а колоссальная фигура, нависавшая недавно надо всем миром, еще живет в нашей памяти.

Объективный подход должен заключаться в том, чтобы оценивать Сталина исключительно по историческому результату его правления, полностью отвлекаясь от специфики тех средств, которые он применял для достижения этого результата. Конечно, отвлечься от них психологически трудно, ибо именно средства, к которым он прибегал, больше всего задевают за живое, но постараться сделать это необходимо. Иначе уйдет время истины, которое примерно через пятьдесят лет кончается, вместе с уходом из жизни последних свидетелей эпохи. Именно через такой период Толстой дал верное описание Отечественной войны 1812 года, а Фолкнер – Гражданской войны в США.

Что такое исторический результат деятельности Сталина?

Это разница между той Россией, которая была до его прихода к власти, и той, которую он оставил своим преемникам, уйдя в иной мир. Она получается простым вычитанием из Советского Союза 1953 года, когда вождь умер, Советского Союза 1928 года, когда жестокая борьба между ним и Троцким завершилась в его пользу, а устранение Зиновьева, Каменева, Бухарина и Кирова было уже «делом техники» и нуждалось лишь в каком-то предлоге.

Давайте начнем с вычитаемого. Что представляла собой наша страна в 1928 году?

Это было довольно фантастическое государственное образование, по своему происхождению идеократическое, но все более переходящее в бюрократическое, поскольку его центральная идея – диктатура пролетариата, готовящего мировую революцию, – постепенно приедалась и пламенная пропаганда этой идеи фанатиками все более вытеснялась демагогией приспособленцев. Перерожденчество и цинизм, как всегда, начинались с головы, и наиболее ревностными блюстителями чистоты и незапятнанности партийных лозунгов становились карьеристы, обрушивающиеся на всевозможных «уклонистов», чтобы расчистить себе дорогу вверх по служебной лестнице. Соответственно этому репрессивный аппарат ЧК переориентировался с подавления истинных классовых врагов и всяких «бывших», которых становилось все меньше, на преследование призраков типа «Промпартии», «вредителей», «провокаторов» и т. п. Что же касается материального фундамента молодой республики, то он был очень слабым, народ в своей массе был нищим, полуголодным, раздетым и разутым; всякая тряпка считалась вещью и не выкидывалась. Последствия страшной разрухи, вызванной Гражданской войной, были преодолены лишь в малой степени, да и то главным образом благодаря НЭПу, а не организующей деятельности партийных руководителей, делающих ставку на призывы трудиться, а не на механизмы реальной трудовой заинтересованности. В промышленном и оборонном отношении мы были тогда очень отсталой страной.

Что сказать о тогдашнем общественном сознании? Оно не было однородным. Для рыцарей революции, искренне поверивших в нашу великую миссию освобождения трудящихся всего мира, которых отец Сергей Булгаков называл «почти святыми», конец двадцатых был трагедией, периодом глубокого разочарования. С болью в сердце они видели вокруг себя отступничество от подлинного большевизма, предательство революционных идеалов, впадение в мерзкое мещанство. Их приводило в отчаяние, что женщины ставили у своих зеркал портреты не Ленина и Дзержинского, а Дугласа Фербенкса и Монти Бенкса, а граммофоны играли не «Марсельезу», а «Аргентинское танго». Негодование наступлением мелкобуржуазной стихии лучше всех выразил Маяковский – гениальный поэт, но наивный человек, принявший за чистую монету пафос строительства нового мира и посвятивший свой уникальный дар его пропаганде, что становилось все более нелепым и в конце концов привело его к гибели. Уже в начале двадцатых он чутко уловил тревожащую его тенденцию и написал такие строки:

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мещанина,
И вылезло
Из-за спины РСФСР
Мурло мещанина.

Но начавшееся приземление жизненных установок могли заметить только максималисты – на самом деле романтики, а точнее, дури, было еще очень много. Население все еще верило, что через тридцать лет человек будет заходить в магазин и брать, что ему нужно, бесплатно: «каждому по потребностям». И уж конечно, ископаемым экспонатом музея станет замучивший всю Россию клоп (тот же Маяковский отразил это в одноименной пьесе). На возникающие у кого-то жалобы отвечали: «Это пустяки по сравнению с мировой революцией», а при препирательствах в трамвае говорили: «Таких, как вы, мы в коммунизм не возьмем», – и это было весомым аргументом. Левацкие крайности, вроде общества «Долой стыд!» (его члены ходили по улицам нагишом), все еще держались, хотя начали уже вызывать осуждение толпы. Зато закрытие церквей никого особенно не волновало: верили, что рай построим без Бога, «своей мозолистой рукой». Антирелигиозные убеждения поддерживали блестяще сделанные фильмы-агитки «Чудотворец», «Праздник святого Йоргена», «Крылья холопа» и другие.

Особо надо сказать об эстетике конца двадцатых, которая, как и всегда, нагляднее всего заявляла себя в архитектуре. Это было время конструктивизма, питавшегося идеологией «освобожденного труда». Ее образцом является клуб имени Русакова в Москве К.С. Мельникова, прозванный «домом-комбайном». Он был воздвигнут в 1928 году как символ не только нового зодчества, но и новой жизни, но вместо ожидаемого триумфа потерпел полный провал. Москвичи не оценили его смелых форм и восприняли сооружение как уродство. Произошло то, чего не предвидели новаторы, – глаз публики стал возвращаться к традиционным русским критериям красоты и безобразия и затосковал по классицизму. Соответственно, начали отвергаться зрителями и формалистические выдумки театра Мейерхольда, карикатурно изображенного в «Двенадцати стульях» (1928 г.) под видом «Театра Колумба».

Суммируя сказанное, можно обрисовать обстановку накануне взятия Сталиным всей полноты власти в свои руки следующим образом. Эксперимент по созданию всероссийской коммуны под водительством рабочего класса, за которым с большой симпатией наблюдали из своего прекрасного далека левые круги Запада, потерпел фиаско. Ожидаемого роста производительности «освобожденного труда» не произошло, и поднять народное хозяйство не удалось. Вывешивание на досках почета портретов ударников оказалось слабым стимулом

для напряжения сил, а жестко контролируемый партией НЭП мог заткнуть лишь самые зияющие дыры. В обществе назревало разочарование и разброд, все чаще ностальгически вспоминали «мирное время» (до 1914 года). Народ затосковал по стабильности, по традиционному укладу жизни, хотел порядка. Ему надоела «революционная» риторика бесконечных митингов и собраний, а высшие партийные функционеры мечтали образовать новую аристократию, но инстинктивно догадывались, что истинная аристократия без монарха существовать не может. Так низы и верхи сошлись в желании получить царя, не важно, под каким названием, который один мог бы своей волей прекратить попытки осуществить неосуществимую утопию кабинетных теоретиков социализма как самой эффективной в производственном отношении формации.

Перепрыгнем через четверть века – срок по историческим меркам ничтожный. И что же мы застаем? Империю. Всесильная вертикаль власти, начинающаяся в Кремле, не оставила и следов политической самостоятельности класса-гегемона. Каждый знает теперь свое место в работающей как часы государственной машине, ощущая себя одним из ее винтиков. Координируемое Госпланом народное хозяйство вышло по промышленной продукции на первое место в Европе и на второе в мире. Еще большее чудо произошло в области науки. Советская математика по новым идеям и прикладным разработкам опередила немецкую и французскую, физика дала таких ученых, которые в дальнейшем получили более десяти Нобелевских премий. Вторыми после американцев они создали атомную бомбу, а запустили спутник, т. е. решили проблему ее доставки в любое место земного шара, первыми. Бряцая этим страшным оружием, Империя создала сообщество стран-сателлитов в виде «антиимпериалистического лагеря», занявшего половину планеты. Отдельно надо сказать о том, что высочайшего уровня достигло искусство. Советские композиторы-классики Шостакович, Прокофьев и Хачатурян стали гордостью двадцатого века, необычайный взлет произошел в оперном творчестве, высочайших вершин достигли театр и кинематограф. Это заставляет подойти дифференцированно к понятию «тоталитаризм»: в сталинские времена этот тип общественного жизнеустройства характеризовался не столько страхом, который всегда парализует творчество, сколько идеей служения, его стимулирующей. Соответственно, сформировалось служилое сословие имперской аристократии – государственные и хозяйственные деятели такого масштаба, которых можно сравнить разве что с «Екатерининскими орлами». Они являлись опорой императору, которого так и не короновали и именовали «вождем», получая от него щедрые денежные награды, дачи, привилегии и почести.

* * *

Итак, все готово для того, чтобы произвести операцию вычитания. Уменьшаемое и вычитаемое представлены нами совершенно беспристрастно, поэтому и разность будет объективной. Останется только посмотреть, положительна она или отрицательна, и мы будем иметь оценку Сталина как исторического деятеля. Так или нет?

Думается, даже поставив вопрос в такой предельно упрощенной форме, мы не получим на него единого ответа. Всякий ответит на него в соответствии с тем, в чем он видит смысл истории и как выстраивает в ней иерархию ценностей. Один скажет: любая республика, даже самая плохая, лучше любой империи, даже самой хорошей. Другой выскажет противоположное убеждение: любая империя лучше любой республики. Тем не менее наша постановка проблемы имела смысл: она поможет каждому нашему читателю разобраться в своем глубинном политическом кредо.

Ну а каково кредо вразумляемого Церковью христианина? Он, конечно, за империю. В империи – Первом Риме – возникло христианство; в империи – Втором Риме – очищалось от ересей; в империи – Третьем Риме – встретит пришествие антихриста и конец истории.

Хочется только, чтобы этот Третий Рим, который ушел сейчас, как град Китеж, под воду, но обязательно всплывет, был не половинчатой империей, как у Сталина, не решившегося отказаться от марксизма, а настоящей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.